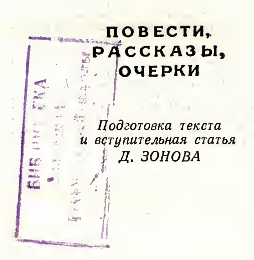
Д. А. ФУРМАНОВ





Д. А. ФУРМАНОВ



ПОВЕСТИ,
РАССКАЗЫ,
ОЧЕРКИ

Подготовка текста
и вступительная статья
Д. ЗОНОВА

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
МОСКВА — 1957

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Основная часть помещенных в этой книге произведений Д. А. Фурманова печатается по III тому его Сочинений, изданных Государственным издательством художественной литературы в 1951—1952 гг. Произведения «Красный десант», «Епифан Ковтюх», «Шестьдесят» и «Лбищенская драма» печатаются по III тому Собрания сочинений Дм. Фурманова (Гослитиздат, 1936 г.). Очерк «Пашка Сычев» дается по IV тому Собрания сочинений Дм. Фурманова, изданного Государственным издательством в 1927 г.

Речь «Над свежей могилой» печатается по книге М. В. Фрунзе «Избранные произведения», М. Воениздат, 1951 г. Очерк «1 Мая» публикуется по рукописи, хранящейся в отделе рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького.



Д. А. ФУРМАНОВ

Незадолго до Великой Отечественной войны один из бойцов Советской Армии, прочитав роман Фурманова «Чапаев», писал в своем отзыве: «Когда я прочел «Чапаева», мне самому захотелось стать таким же смелым, решительным человеком, каким встает передо мной по этой книге Василий Иванович Чапаев.

Начал читать «Чапаева» с вечера и не мог оторваться, да так всю ночь и проскакал на коне с Чапаевым. Как жалко мне стало, что не дожили оба эти героя, и Чапаев и Фурманов, до наших замечательных дней».

Первое крупное произведение Фурманова — «Чапаев» сделало его имя широко известным стране. Сила «Чапаева», так же как и других его повестей, рассказов, очерков, в их глубокой художественной правде. Они рассказывают о борьбе за пролетарскую революцию, о героях гражданской войны, о славных бойцах и командирах, не щадивших жизни в борьбе за Советскую власть.

Почти все, что написано Фурмановым, связано с его жизнью, с тем, что он слышал в детские и в юношеские годы из уст участников первой русской революции, с тем, что он видел в годы империалистической войны, в период Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны, как один из активных участников боев за коммунизм.

* * *

Дмитрий Андреевич Фурманов родился 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1891 года в с. Середа Нерехтского уезда, Костромской губернии (ныне г. Фурманов, Ивановской области) в бедной крестьянской семье.

Когда мальчику было шесть лет, родители Фурманова со всей семьей, состоявшей из семи человек, переезжают в город Иваново-

Вознесенск. Здесь Митяй, как звали Дмитрия Андреевича в семье и друзья, учится в Иваново-Вознесенском городском шестиклассном училище, а после его окончания — в торговой школе.

Но коммерческие науки мало интересовали не по летам развитого и любознательного подростка, который увлекался литературой и писал стихи. После окончания торговой школы он попросил отца отпустить его в реальное училище.

Поступив в 5 класс реального училища в г. Кинешме, Дмитрий вскоре организует кружок по изучению литературы, с увлечением читает произведения выдающихся русских революционных демократов Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Писарева.

Наряду с обсуждением лучших произведений русской классической литературы в литературном кружке подпимались и социальные вопросы, шли жаркие споры. В этих спорах слышались отзвуки нараставшей революционной борьбы в стране.

Шестого июля 1912 года в газете «Ивановский листок» было напечатано стихотворение, подписанное псевдонимом Новий. Оно принадлежало Дмитрию Фурманову. Это было его первое выступление в печати.

После окончания реального училища перед Фурмановым встал вопрос: где продолжать свое образование? Дмитрий твердо решил поступить в Московский университет. И вот осенью 1912 года он приезжает в Москву. Фурманов не только учится, но и учит других, помогает товарищам, а все остальное время отдает книгам. Его дневниковые записи раскрывают отношение студента Фурманова к ряду важнейших вопросов литературы и искусства. Он отвергает реакционное, идеалистическое представление об искусстве и выступает за реалистическое, правдивое изображение жизни.

Когда осенью 1914 года разразилась первая мировая война и на фронт потянулись эшелоны с войсками, Фурманов не мог оставаться в стороне от этих событий. Думая о том, чтобы принести пользу народу, он решил уехать на фронт. Студентов старшего курса не брали на военную службу, и тогда Фурманов начал посещать санитарные курсы.

Вскоре он уезжает с санитарным поездом в качестве брата милосердия в Действующую армию. Здесь Дмитрий Андреевич начинает свою журналистскую деятельность. Он много беседует с ранеными солдатами, слушает их рассказы о фронтовой жизни и им посвящает ряд своих очерков и статей. Некоторые из них были напечатаны в 1916 г. в газете «Русское слово».

В таких очерках, как «Братское кладбище», «На Стоходе», «Многострадальный путь», «Серые герои» и др., Фурманов рассказывает о рядовых воинах, которые несут на себе всю тяжесть

войны. В своих дневниковых записях он приводит факты издевательства офицеров над солдатами, пишет о бездарности царских генералов, о продажности военных чиновников. Его возмущает бесчеловечное отношение к людям. Он начинает более отчетливо понимать, кто угнетает народные массы, что собой представляет самодержавие. Он видит, как в стране нарастает протест против гнета и насилия. В своем дневнике 15 ноября 1916 года он делает такую запись: «Слышите, как сильно бьется пульс русской жизни? Взгляните широко открытыми, алчущими глазами, напрягитесь взволнованным сердцем — и вы почувствуете живо это могучее дыхание приближающейся грозы... Подымайся же, молодая горячая сила! Бери любимые знамена, иди на широкий простор...»

Фурманов видел преступный характер войны, затеянной помещиками и капиталистами, он чувствовал «приближение грозы» — революции. Считая бессмысленным оставаться на фронте, он решает вернуться в Иваново-Вознесенск. Это было в конце 1916 года.

Здесь, в родном городе, Дмитрий Андреевич восторженно встречает свержение самодержавия. В своем стихотворении, написанном незадолго до революции, он писал:

Тише! Огромное чудо свершается —
В темном лесу великан пробуждается.
В темном дремучем лесу...

И заканчивал его так:

Тише! Проникнитесь думой глубокою.
С мудрой душою и мощью огромною
Встанет гигантский народ.
Встаньте торжественно, в полном молчании,
Дайте дорогу! В пурпурном сиянии
Новая сила идет!

Уже с первых дней революции Фурманов целиком отдается общественной деятельности, принимает активное участие в организации рабочих курсов, читает лекции, ведет пропагандистскую работу. Это было начало пути талантливого агитатора и пропагандиста, ставшего впоследствии боевым комиссаром.

Исключительное влияние на Фурманова оказал один из видных деятелей Коммунистической партии — Михаил Васильевич Фрунзе. После победы Великой Октябрьской социалистической революции оба они работают в Иваново-Вознесенском губисполкоме. Фрунзе поручает Дмитрию Андреевичу ряд ответственных политических заданий, он видит в нем способного, преданного революции чело-

века. После вступления в члены Коммунистической партии Фурманов работает вместе с Фрунзе в губернском комитете партии.

Вскоре Фрунзе одновременно назначается губернским военным комиссаром; он привлекает Фурманова к руководству отделом агитации и пропаганды военного комиссариата. С увлечением работает Дмитрий Андреевич на новом посту. Он пользуется большой любовью рабочих, которые прислушиваются к его речам, к его призывам о помощи Красной Армии, о вступлении в ее ряды.

Наступил 1919 год. На фронтах гражданской войны сложилась тяжелая обстановка. Армия Колчака стремилась во что бы то ни стало прорваться к Волге, а оттуда к Москве.

«Все на Колчака!» В ответ на этот призыв Коммунистической партии, на обращение В. И. Ленина лучшие сыны партии отправляются на фронт. Вместе с ними идут тысячи добровольцев — рабочие и работницы фабрик и заводов.

Кто не помнит начало романа «Чапаев», в котором описывается отъезд ивановских ткачей и ткачих на колчаковский фронт? С одним из таких эшелонов уезжает и Фурманов. Ивановские добровольцы прибывают в распоряжение 4 армии, командующий которой М. В. Фрунзе назначает Фурманова военным комиссаром 25 стрелковой дивизии, которой командовал В. И. Чапаев.

Имя легендарного Чапаева — бесстрашного командира, создавшего непобедимые полки Советской Армии, было уже широко известно. Комиссар Фурманов сумел быстро завоевать авторитет и популярность среди чапаевцев. Он делил с ними все тяготы походной жизни, был всегда с ними, с их командиром — Чапаевым.

Комиссар Фурманов не раз показывал личный пример в бою. Под Бугурусланом белогвардейцы держали переправу под прицельным огнем; надо было выбить их из окопов. Дважды пытался это сделать полк, но безуспешно. Тогда Фурманов сам повел первый батальон в атаку. Враг был сломлен. Так было и в бою под Уфой. Фурманов находился в бригаде Потапова, которая должна была переправиться через реку под огнем противника, взорвавшего мост. Когда началось наступление, впереди, на одном из плотов, плыл комиссар дивизии. Первым выскочил он на берег и, увлекая за собой бойцов, бросился вперед.

Фурманов знал, где место в бою командира и комиссара, но он, так же как и Чапаев, когда требовала обстановка, бесстрашно устремлялся вперед.

Между Чапаевым и Фурмановым завязывается большая дружба. Командир дивизии внимательно прислушивается к советам своего комиссара, он видит, как этот талантливый политработник — представитель Коммунистической партии — умеет сплотить бойцов

и командиров, как он организует политическую работу, способствующую укреплению боеспособности дивизии.

Фурманов не забывает и о журналистской деятельности. Отсюда, с колчаковского фронта, посылает он статьи и очерки в иваново-вознесенскую газету «Рабочий край». В них он ярко описывает героизм и стойкость советских воинов, их боевые дела, рассказывает об иваново-вознесенских рабочих, сражавшихся в Чапаевской дивизии.

Когда в августе 1919 года Фурманова отозвали из дивизии для назначения на другую работу, Чапаев с грустью расставался со своим комиссаром. Жена писателя — А. Н. Фурманова, работавшая вместе с ним в дивизии, рассказывает об этих минутах расставания: «Прощай, Митяй, — обратился Чапаев к Фурманову, обнимая его. — Во многих боях мы с тобой были, много горя вместе видели. Полюбил я тебя крепко, и жаль расставаться. Если бы не Фрунзе, скандалил бы я, а тебя не отпустил. Спасибо за все. Многому ты меня научил». Горячо расцеловались друзья.

Вскоре Фурманов узнал о трагической гибели Чапаева. Он тяжело переживал утрату любимого друга и боевого командира. В листовке, выпущенной Политуправлением Туркестанского фронта, посвященной памяти Чапаева, начальник Политуправления Фурманов писал: «...Нет больше замечательного командира, нет больше легендарного героя, который водил свои полки и никогда не знал отступления. Красная Армия никогда не забудет твоих подвигов, дорогой Чапай! Ты блестящей звездой войдешь в историю гражданской войны».

В марте 1920 года Фурманова назначают Уполномоченным Реввоенсовета фронта по Семиречью. Здесь, в г. Верном (ныне Алма-Ата), он во главе группы коммунистов участвует в ликвидации кулацко-белогвардейского мятежа. Исключительное мужество, выдержка, гибкость, проявленные Фурмановым при выполнении этого боевого задания, были высоко оценены Военным Советом фронта.

В августе 1920 года барон Врангель, возглавивший контрреволюционные банды деникинской армии, укрывшиеся в Крыму, посылает на Кубань десант генерала Улагая.

Командование Советской Армии решило направить в тыл Улагаю красный десант. Командиром его назначается Ковтюх — один из героев гражданской войны, изображенный в романе Серафимовича «Железный поток» под именем Кожуха, комиссаром — Фурманов. Действиям десанта посвящена его повесть «Красный десант». Лично Фурманов проявил исключительное мужество в этих боях. За участие в этой операции он был награжден орденом Красного знамени.

В конце декабря 1920 года Фурманов приехал в Москву на VIII Всероссийский съезд советов. Делегат IX Кубанской армии, он, как и все участники съезда, с волнением слушал выступавшего с докладом на съезде Владимира Ильича Ленина, говорившего о героизме Красной Армии, о борьбе советского народа за мир, о необходимости с гораздо большей уверенностью и твердостью взяться за дело хозяйственного строительства.

Гражданская война шла к концу. Весной 1921 года Фурманов, работавший начальником политотдела IX армии, был назначен в Тифлис редактором красноармейской газеты «Красный воин». Здесь Дмитрий Андреевич целиком отдается редакционной и литературной работе. Он устанавливает тесную связь с бойцами, созывает совещание военкоров, помогает стенгазетам частей, ведет переписку с читателями. Он пишет статьи, очерки, продолжает работу над повестью «Красный десант», начатой еще на Кубани, просматривает свои фронтовые записи, собирает документы, готовится к большой творческой деятельности.

В конце мая 1921 года Фурманова переводят в Москву. Большая радость охватила его. «В Москву... в новую, вечно бьющую ключом жизни, Москву... Туда, откуда слышится призыв великого учителя и зовет массы к борьбе», — пишет он в своем дневнике.

В Москве Фурманов работает в Высшем военно-редакционном совете, одновременно возобновляет прерванную учебу в Московском университете. В 1923 г. Центральный Комитет партии направляет Дмитрия Андреевича в Госиздат, где он работает редактором отдела современной художественной литературы. С увлечением читает и редактирует он талантливые произведения советских писателей: «Партизанские повести» Всеволода Иванова, «Виринею» Сейфуллиной, «Железный поток» Серафимовича и другие.

Фурманов руководит кружками начинающих писателей, помогает литературной молодежи. Большую работу проводит он по объединению творческих сил советской литературы. В эти годы в журналах и газетах появляются его рассказы, очерки, повести, статьи.

Тематика произведений Фурманова взята из самой жизни. Повесть «В восемнадцатом году» рисует большевистское подполье на Кубани. В ней показана борьба двух миров: старого — капиталистического и нового — социалистического. Захватив Кубань, контрреволюция ведет борьбу с коммунистами, со всеми, кто оказывает им помощь, находится под их влиянием. Писатель сатирически рисует представителей краснодарской буржуазии, белогвардейских офицеров. Он показывает их тревогу, боязнь растущего недовольства трудящихся.

Фурманов создает образы деятелей большевистского подполья

в Краснодаре — рабочих-коммунистов: Виктора Климова, Караева, Пашука, Пацеико. Климову поручено вести пропаганду среди учащейся молодежи. В гимназии он встречается с Надей Кудрявцевой. Писатель изображает, как в ходе борьбы происходит политическое развитие гимназистки Нади. Испытав унижения во время обыска, в тюрьме, увидев мерзкое лицо белогвардейщины, она осознает, что ее путь вместе с большевиками.

В повести «Красный десант» писатель рисует героизм советских бойцов и командиров, выполняющих трудное боевое задание. Он создает образы участников десанта: комсомольца-наборщика Ганьки, матроса Леонтия Щеткина, командира эскадрона Чобота, лихого кавалериста Танчука, разведчика Кондры, волевого, инициативного командира Ковалева. С большим мастерством изображены в повести развертывающиеся события. Ярко, художественно дано описание кубанской природы.

В эти годы Фурманов думает о создании крупного произведения. Просматривая свои записные книжки, которые он вел в период гражданской войны, папки с собранными материалами, вспоминая то, что он видел, писатель останавливается на образе Чапаева. Перед ним встает этот своеобразный, талантливый человек, простой, искренний, глубоко преданный революции. Перед ним оживают фигуры бойцов и командиров, окружавших Чапаева. Решив написать книгу, Фурманов долго думал над тем, каким должен быть этот образ. «...Дать ли Чапая действительно с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой, или, как обычно, дать фигуру фантастическую, то есть, хотя и яркую, но во многом кастрированную?» — спрашивал он себя. Писатель отказывается от создания фантастического героя и решает дать Чапаева таким, каким он был в жизни: со всеми его положительными и отрицательными чертами. Он создает типический образ, полный большой художественной силы, жизненно-правдивый. Чапаев стал классическим образом в советской литературе. Он олицетворяет силу народных масс. Ярко показана его ненависть к буржуазии, к угнетателям, его глубокая вера в народ.

Изображая бойцов и командиров Чапаевской дивизии, показывая их, как единый коллектив, у которого одна цель — разгромить врага, Фурманов подчеркивает неиссякаемую силу советского народа. В романе показана неразрывная связь фронта и тыла, роль иваново-вознесенских рабочих в цементировании чапаевских полков.

Коммунистическая партия изображена в романе как могучая сила, которая ведет за собой многомиллионный народ. Фурманов создает образ замечательного воспитателя советских воинов — комиссара Клычкова — представителя нашей партии. Это он помо-

гает Чапаеву в его политическом развитии, пробуждает у него любовь к знаниям, к культуре. Это он помогает чапаевцам осознать политику партии.

Создавая свое произведение, Фурманов думал о народных массах, сражавшихся за революцию. В посвящении к «Чапаеву» он писал: «Мужикам Самарской губернии, уральским рабочим, красным ткачам Иваново-Вознесенска, киргизам и латышам, мадьярам и австрийцам — всем, кто составлял непобедимые полки Чапаевской дивизии, кто в суровые годы гражданской войны, часто без хлеба, без сапог, без рубах, без патронов, без снарядов, с одним штыком сумел пройти по уральским степям до Каспийского моря, по самарским лугам на Колчака, на Западе против польских панов, кто мужественно бился против белоказацкой орды, против полков офицерских, кто кровь свою пролил за великое дело, кто отдал жизнь свою на алтарь борьбы, — всем вам, герои гражданской войны, чапаевцы, я посвящаю эту книгу».

Сочным, образным языком написан «Чапаев». О художественной силе этого замечательного произведения, впервые изданного в 1923 году, о его огромной популярности среди миллионов читателей говорят многочисленные издания романа на всех языках народов СССР и многих зарубежных стран. Кинофильм «Чапаев», созданный режиссерами бр. Васильевыми на основе произведения Фурманова, является шедевром советской кинематографии.

Второе крупное произведение Фурманова — «Мятеж» — было опубликовано в 1925 году. За год до этого в Москву, в Истпарт, прибыли документы о мятеже в городе Верном, в Туркестане, в подавлении которого участвовал Дмитрий Андреевич. Просматривая многочисленные архивные материалы, писатель вспоминал события, которые он так близко видел и пережил. Он решил написать книгу, в которой была бы показана героическая работа партии, революционное мужество и стойкость коммунистов. Создавая образы своих героев, он вводит в повесть подлинные документы: вырезки из газет, записи, но это нисколько не лишает произведение большой художественной ценности.

Изображая борьбу с мятежниками, Фурманов на исторически конкретном материале показал силу коммунистических идей, правильность ленинской национальной политики.

В изображенном Фурмановым Уполномоченном Реввоенсовета даны не просто биографические, а собирательные черты. Перед нами художественный образ коммуниста-руководителя, пропагандирующего ленинские идеи, талантливого агитатора, который умеет зажечь массы словом большевистской правды. Сила его в близости к народу, в глубоком понимании его мыслей и чувств.

1925 год был особенно плодотворным в творчестве Фурманова. Кроме «Мятежа», был опубликован ряд его рассказов и очерков. В их числе очерк «Талка», в котором изображена борьба иваново-вознесенских ткачей под руководством большевиков в период революции 1905 г. и очерк «Как убили Отца», также посвященный событиям первой русской революции. В очерке «Незабываемые дни» рассказывается о первых днях Великой Октябрьской социалистической революции в Иваново-Вознесенске. Фурманов рисует руководящую роль Коммунистической партии в подготовке восстания, восторженную встречу рабочими Октябрьского переворота. Событиям гражданской войны посвящены рассказы: «Маруся Рябинина», «Шестьдесят» и ряд очерков: «Лбищенская драма», «Уфимский бой» и другие.

Как художник, Фурманов в изображении человеческих характеров следовал традициям горьковского творчества. У него — великого пролетарского писателя — учился он мастерству. Фурманов продолжал работать над своими даже опубликованными произведениями и в последующие годы, стремясь добиться их художественного совершенства.

Фурманов был не только выдающимся беллетристом, но и талантливым публицистом. Им написано более ста статей по различным вопросам международного и внутреннего положения страны, строительства Советской Армии, политической работы и партийного строительства. Целый ряд его произведений остался в рукописях. Среди них и такие, которые можно было опубликовать, но он не делал этого, собираясь над ними еще поработать.

21 января 1924 г. советский народ и трудящихся всего мира постигла тяжелая утрата — смерть великого вождя и учителя В. И. Ленина. Фурманов был одним из тех, кто стоял в почетном карауле у гроба Ильича. С болью в сердце всматривался он в дорогие черты. В своих записях о Ленине, сделанных в дневнике, писатель рассказывает об этих переживаниях, о горе всей страны, о безмерной любви народа к своему вождю. В этих записях глубоко проходит мысль о величии Ленина, о силе ленинских идей.

В Москве Фурманов часто встречался со своим другом — М. В. Фрунзе, занимавшим пост Народного комиссара по военным и морским делам. Дмитрий Андреевич посвятил Фрунзе ряд очерков. В них, как и в романе «Чапаев», он рисует Фрунзе талантливым советским полководцем, чутким коммунистом, настоящим партийным руководителем, неразрывно связанным с народом. Фурманов думал написать о Фрунзе книгу, собирал материалы. Смерть Михаила Васильевича Фрунзе в октябре 1925 года глубоко потрясла писателя.

В 1924 году Фурманов избирается секретарем Московской ассоциации пролетарских писателей. Он ведет борьбу за выполнение постановления ЦК партии от 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литературы».

В начале марта 1926 года внезапная болезнь приковала Дмитрия Андреевича к постели. Болезнь осложнилась, вскоре наступила смерть. Он умер 15 марта 1926 г., в полном расцвете творческих сил. Его последними словами было: «...Я еще не все успел сказать, не все сделал. Мне еще так много нужно сделать!..»

В письме к жене Фурманова А. М. Горький писал из Италии: «Для меня нет сомнения, что в лице Фурманова потерян человек, который быстро завоевал бы себе почетное место в нашей литературе. Он много видел, хорошо чувствовал, и у него был живой ум. Огорчила меня эта смерть».

Выдающийся советский писатель Фурманов был художником революции. Сколько скромных, незаметных героев встречаем мы на страницах его произведений! С какой любовью описывает он их подвиги, мужество, преданность народу!

С большой художественной силой передает Фурманов характерные черты нашей советской эпохи, глубоко правдиво описывает события, боевые действия. И наряду с этим конкретным описанием в его произведениях дано большое художественное обобщение.

Фурманов сыграл выдающуюся роль в истории советской литературы, как один из ее талантливых представителей. Он одним из первых сумел передать в своем творчестве пафос революции, показать нового героя — коммуниста, для которого нет других целей, кроме защиты интересов народа, родной страны. Фурманов много сделал для развития советской литературы как один из ее организаторов, как один из борцов за идейную чистоту, за глубокую партийность литературы, за ее высокую художественную силу.

Когда в 1936 году героический испанский народ встал на борьбу с фашизмом, на помощь народу Испании пришли передовые люди из других стран. В Интернациональной бригаде, сражавшейся в Испании, которой командовал выдающийся венгерский писатель — коммунист Мате Залка, один из батальонов носил имя Дмитрия Фурманова, другой — Чапаева.

В песне о военном комиссаре испанский поэт Хозе Эррера писал:

Он вырос сам в войне гражданской,
В бойцах твой опыт повторен,
О новый Фурманов испанский,
Тобой Чапаев закален.

В грозные дни Великой Отечественной войны рабочие Иваново-Вознесенска, так же как и в годы гражданской войны, создали рабочий полк. Они присвоили ему имя Дмитрия Фурманова. Партизанские отряды, носившие имя Чапаева, помогали Советской Армии громить фашистские полчища.

Много славных страниц вписал советский народ в годы Великой Отечественной войны в историю нашей Родины. Среди героев, проявивших невиданную твердость и мужество на полях сражений, были славные панфиловцы, оборонявшие подступы к Москве. Их командир — генерал-майор Панфилов — в годы гражданской войны являлся бойцом Чапаевской дивизии.

Разгромив врага, советский народ быстро восстановил разрушенное войной хозяйство. С огромным энтузиазмом трудится он над осуществлением грандиозных планов строительства коммунистического общества. Мирный труд советских людей охраняют воины нашей армии. Они воспитываются на опыте гражданской и Великой Отечественной войн. В их воспитании огромную роль играют лучшие произведения советской литературы, в которой выдающееся место занимает творчество замечательного писателя — Дмитрия Андреевича Фурманова.

Д. Зонов.



ТАЛКА

Первыми выходили бакулинские ткачи. Шуршавой и шумной толпой выхлестнули они из корпусных коридоров на фабричный двор. И раскатился от стен и до стен по каменному простору ревучий гул.

У ворот, под стеной, оскалившись злобой, в строгой готовности вздрагивали астраханские казаки. На кучку железных обрезков, стружья, укомканной грязи выскочила хрупкая тощая фигурка рабочего. И вдруг зашуршало по рядам:

— Дунаев... Дунаев... Евлампий Дунаев...

Дунаев вскрикнул что-то и взмахнул повелительно над головой короткими руками. И было видно, как торопливо юркнула к затылку черная кепка, сползли в подмышки рукава рабочей блузы и ворот отскочил с крутого кадыка.

По восковому рябому лицу Дунаева проступили горячие пятна, черные глаза захлебнулись волненьем, вспыхнули, как жало, впились в толпу. Остро прыгала короткая бородка, как клееные — трепетали черные усики. Он весь дрожал, словно птица в петле, а высоко вскинутая тонкая рука приказывала мужественно и властно:

— Товарищи, внимание!

И все, что гремело, стучало, кричало, визжало, вмиг встало. Вмиг — тишина. Только чеканным клекотом чмокнули по камням казацкие кони. Казаки ерзко шаркнули в седлах шершавыми штанами. Подались назад, хрустнули нагайками, но остались под стеной. Толпа могуче зевнула в казачью сторону, тяжело обернула к Дунаеву сухое решительное желтое лицо и — замолчала.

— Товарищи! Мы бросили работу, мы вышли на волю — зачем? Затем, чтобы крикнуть этим псам, — он дернул пальцем на каменный корпус, — крикнуть, что дальше так жить и работать нельзя! Верно али нет?

И казалось — подпрыгнул каменный двор от страшного вскрика толпы и стены медленно, жутко покачнулись.

— Но не будет успеха, товарищи, — покрыл Дунаев утихавшие голоса, — не будет успеха, ежели мы в одиночку. Всем рабочим горькая жизнь одна — вместе с нами пойдут все фабрики, все заодно, — так али нет?

И снова крикнул в мгновенной встряске каменный двор. Охнула толпа, заволновалась тревожная, словно кто-то по рядам перебирал ее, как струны, — крепкими, цепкими пальцами.

Со стружьей кучки кратки были гневные речи.

С шипом кто-то шамкнул в толпе:

— Среди нас шпионы...

— Шпионы!.. Шпионы!.. Шпионы!..

Словно против шерсти пошарили зверя: взлохматилась, ощетинилась сердито толпа.

— Где шпионы? Взять шпионов в бока!

И кто-то выкрикнул резко и внятно:

— Шпионы метят спины мелом...

Тогда вмиг поверили все, что у шпионов — мел в руках, и тысячи глаз заскакали по соседским ладоням, шарили по саленым спинам, но не находили мела, не видели предательских спинных крестов.

— Про-во-ка-ция!

И так же быстро, уверенно побежало это новое:

— Провокация, провокация, провокация!..

— Товарищи, нет ничего, круглый обман. Торопитесь выходить за ворота!

И толпа снялась, как с якоря огромный пароход, — забила лопастями, заухала, расплескалась звонкими вскриками, выровняла путь и вперила в ворота прямой, непоколебимый взор.

Тогда кони казацкие враз куснули удила — подались казаки в сторону, лава вылудила улицу.

И неслась густая темноблузая масса по недоуменному городу, обрастала, вырастала, с фабрики перехлестывала на фабрику, заливала корпуса, откатывалась прочь —

 Зак. 1233

окрепшая, освеженная, густая и черная, как волны в ветру.

Недоступны каменные стены вкруг корпусов; стиснуты плотно жадные челюсти железных ворот; пусты жандармские кобуры — готовы наганы в руках; отменно вооружены полицейские наряды; по городу свищут желтолампасые эскадроны астраханцев...

Ямы, заставы, капканы, засады — смерть, как горные тучи, низко повисла кругом.

Но широк и волен шумный бег масс — разжимаются перед ними пасти ворот, пропускают высокие стены, скрежещут, но молчат жандармы, мимо скачут разъезды казаков.

У кампанских ворот враз не далось — тогда просочились с тыла, прорвались во двор и оттуда вместе уходили через главные ворота.

Кампанских вели двое — Федор Самойлов и Семен Балашов.

На городской площади, на главной — перед управой — собрались невиданным множеством и забили приуправские улицы, как патроны бекасинником.

Над толпой, на плечах у сильных, как малая рыбка на солнце, выплескалась вверх хрупкая фигура Евлампия Дунаева:

— Тш...ш...ш... Та...ава...рищи! Тихо!

Да, тихо: все тише... тише и — тихо! Остановилось.

Евлампий Дунаев пронзительно, гневно выпалил короткое слово:

— Товарищи! Фабрики побросали работы. Десятки тысяч голодных рабочих пришли сюда — вон, погляди!

И он над головой быстрым крутом перекинул руку.

— Мы предъявим фабрикантам требования и до тех пор не встанем на работу, пока требования наши не удовлетворят.

— Правильно! Верно, Евлампий!

— Забастовку, товарищи, доведем до конца,— вскрикнул Дунаев, — до конца, до самой точки — али нет?

Тысячегрудым эхом гикнуло по площади согласье.

Дунаев сполз с плеч. Дунаеву первому поручил говорить партийный комитет. Комитет заседал накануне в лесу, ночью, — там и решили утром подымать забастовку. Теперь комитет большевиков на площади сомк-

нулся в центре, где выступал Евлампий, — одного за другим выпускал своих ораторов. Партийные ораторы перемежались рабочими, что стояли ближе: всяк говорил только одно, всяк своим гневом, словно расплавленным свинцом, оплескивал гигантскую дрожащую толпу.

Только одно, одно, одно:

— Нет исхода нужде! Больше не можем так жить! Лучше разом сдохнуть с голоду, чем доживать в нищете!

— Хлеба, хлеба! Работы и хлеба!

И в острую голодуху, в неисходную нужду большевики вгоняли стальные клинья.

— Товарищи, голод — голодом, нищета — нищетой, надо бороться за надбавку оклада, за восьмичасовой день, но это не все... Не все это, товарищи! Выходя на забастовку, обрекая себя на долгие, может быть, страдания, мы заявляем сразу обо всем, что думаем, чего добиваемся, за что боролись и станем бороться до конца: учредительное собрание! свобода слова! свобода собраний! печати!.. Без этого некрепки, недостаточны все наши завоевания: сегодня мы отвоевали, а назавтра отымут вновь... Так ли, товарищи?..

И теперь крепким, насыщенным гудом изнывала толпа, но еще густы темные тучи, велик еще страх перед тем, что стоит веками, — рабочая рать только пробуждалась в те дни на борьбу с царизмом.

Один за другим, друг дружку сменяя, повторяя, выплескивая гнев свой и горе, призывая на борьбу, выступали рабочие.

А в открытые окна управы свешивались на мясистых масленых шеях брюхатые головы, поблескивали жалко и кичливо позументы чиновничьих сюртуков, улыбались сахарно чьи-то подобострастные острые мордочки — управа наблюдала, управа была оживлена необычным зрелищем, управа всерьез борьбу не принимала, не хотела верить, что это начало настоящему гигантскому делу. Когда на площади прозвучали набатные речи, когда потребовали хозяев к ответу, — они по-мышиному спрятались в норы — высылали своих ищеек и дебелых цепных псов. Те улыбались и радушно, как истые друзья рабочих, уверяли маслено и пряно:

— Товарищи рабочие! Вы собрались сюда, чтобы добиться законных своих требований. Но криком и скопом никогда ничего не добьешься. Вам необходимо разойтись,

разбиться по группам — пусть каждая группка идет к себе на фабрику и там договаривается со своей администрацией, — так или нет, товарищи?

Один только миг тихо-тихо стояла толпа. Казалось, она обдумывает. Но вдруг взвилось негодующее слово:

— Никаких группок — говори со всеми. Рабочие разбиваться по фабрикам не станут. Нужда у всех одна — со всеми надо и разговор вести!

— Но так же удобнее...

— Кому удобнее?

— Так удобнее для обеих сторон, — вкрадывается маслено-мягкий голосок.

И бухает кувалдой рабочее слово:

— Никаких отдельных выступлений, никаких разговоров — так и передайте. Рабочие выберут своих представителей — говорить можно только с ними, а через них — со всеми рабочими — разом...

Уплетались, как кнутом отхлестанные псы, к себе, в управу.

— Мы завтра, товарищи, вновь соберемся сюда, к управе, а пока — айда на Талку!

— На Талку, на Талку, на Талку!

Разбуженным зверем заворочалась площадь. Раздвинулись улицы, разомкнулись переулки — как волны в половодье, запрудили блузные валы. В те исторические дни на Талке совершилось великое дело: каждая фабрика выбрала своих представителей, те представители образовали первый в России совет рабочих депутатов.

Совет выработал требования рабочих. Совет предъявил их фабрикантам. Все переговоры фабриканты отныне вели только с советом. Совет был в то время рабочим правительством.

Секретарем выставили большевика Грачева. Был в совете Отец — Федор Афанасьев, был его лучший соратник Семен Балашов, Федор Самойлов, Николай Жиделев, что ходил то и дело на разговоры с фабрикантами, с управляющими, директорами, были Марта Сармантова, Евлампий Дунаев — было всего в совете сто десять человек.

Рабочие наказали своему совету:

— Будь у нас головой в борьбе. Слушать станем только тебя. Действовать станем только по твоему приказу. Смотри зорко, чтобы не рассыпалась наша рать,

чтобы действовали фабрики дружно, чтобы ни одна не вступала в разговор с врагом одиночкой.

Совет мужественной, надежной рукой повел на приступ стачечные полки.

— Мы избрали своих делегатов, — утром говорили на площади. — Делегаты предъявили фабрикантам требования. Мы свое дело сделали. Ответ теперь не за нами...

И снова речи. Снова призывы к борьбе — корявые обжигающие слова:

— Лучше всего за нас скажет сама нужда — нам ни свидетелей не надо, ни адвокатов. Велика нужда, но мы же не разбойники — чего эти торгаши с перепугу закрыли свои лавки, чего дрожите, окаянные?

Кругом на лавках, по торговым рядам на схлопнутых дверях чернели пудовые замки.

— Мы голодны, но не грабители мы, не тронем, не бойтесь...

По площади прогудело гордое сочувствие. Торгаши суетились у запоров, открывали витрины и двери. Площадь улыбалась довольная.

— Сколько нам времени вести борьбу, того никто не знает, — снова говорил перед управой кто-то от партийного комитета. — Может, очень долго, товарищи. А ежели долго — значит и трудно. Надо видеть вперед. Надо знать, что нужда может ухватить клещами. От имени комитета предлагаю теперь же выбрать пятнадцать человек, пусть они собирают гроши наши в фонд забастовки, — надо али нет, товарищи?

— Как же не надо? Знамо, надо! — тысячи криков скрепили предложенье. И пятнадцать избранников — с шапками, с кепками — пошли по рядам. Кидали рабочие просаленные семитки, бережно отыскивали монетки, глухо завязанные в узелочки платков. Проходили сборщики и по торговым рядам. Кидали в шапку торгаши, приговаривали:

— Целковый отдашь, только бы кончили, сатаны, заваруху дьяволову.

Когда воротились, вытряхнули шапки — насчитали полтыщи рублей. Эк, какой капиталище на полсотни тысяч забастовщиков! Забастовочный фонд был создан, он хоть крохами, но все эти трудные недели и месяцы кор-

мил голодную массу. Деньги в подмогу приходили и из Москвы.

Пока собирали, пока ходили шапочники, выступала Марта Сармантова — она работала на Бакулинской вместе с Дунаевым.

На ящик, на бочку ли — взгромоздилась голиафского росту женщина: тонкая, как жердь, высоченная, как осина. Впала тощая высохшая грудь у Марты; как нос покойничий, заострились высокие плечи, и оттого она казалась еще выше. Как ветряная мельница машет в бурю тонкими лопастями, вдруг замахала Марта Сармантова длиннущими руками над толпой и голосом острым, как точеное лезвие, полоснула площадь:

— Товарищи! Дайте слово сказать!

Как увидели ее — ветряную мельницу, весело заржали ближние, клекотом раскатили по рядам:

— Марта! Глянь-ка, Мартушка-то Сармантова!

— Она и есть — во баба!

— Я, ребяты, — сказала Марта громко, — я всю жизнь свою то и знала, что ютилась по углам. Этака бабища, да по углам — у-ух, тесно!.. То-то и вольно мне тут, на ящике — маши, что хочешь, за угол, не бойсь, не завезешь. Первый раз без сгибу говорю...

Вся площадь сочувственной радостью подхрапывала словам Сармантовой. Она подхватила смешки, усмехнулась сама просторной улыбкой, говорила дальше:

— И вошла я здесь, товарищи, сказать вам про одно — про бабу-работницу, про горестное наше положенье, — как есть у всех мы на последнем счету. Что такое баба, коли нет правов и мужику, — ноль совершенный и пустой. Какую мы замечаем радость в жизни женской? Да совсем никакую, а жмут ее, бабу, со всех сторон, и труд свой она повсегда отдает дешевле, чем мужик, потому как баба почитается глупый человек. И притом — неумелый. То-то неумелый, а ты сперва обучи, тогда и спрашивай. Вся жизнь проходит, как онуча в навозе гниет. Утресь беги по свистку, весь день голова, как чужая. А в дому, пришла — запрягайся до ночи в хомут, хлещи-полощи, детей тащи, а где их, силы-то, возьмешь? Эти, што ли, подмогут? Товарки! Бабы! Ткачихи! Ладно хлопать ушами — и нам надо дело делать, неча зевать, то-то...

Марта Сармантова переступила на землю, а толпа восторженно ревела ей вслед. С того дня особо запомнили и особо полюбили Марту Сармантову.

Выступали потом на площади всяк со своим горем: приходили каменщики, плотники — жаловались на подрядчиков-живоглотов, говорили про авансы, про удавную петлю, в которую захлестывал хозяин, говорили про каторжную работу и грошовый заработок; выступали сапожники, били в грудь себя смолеными кулаками, плакали над пьяным своим понедельником, поясняли горестную жизнь.

— Каждый понедельник вдрызг сапожник пьян. Хорошо, пьян. А почему он пьян — от радости? Да с того же все горя разнесчастного... с той же все жизни серой, словно дратва сапожная... Не то запьешь, — в веревку полезешь...

Говорили кухарки, господские прислуги, оповещали, как измываются над ними капризные барыни, держат ночь и день на цепи...

Стояли и слушали. Стояли и думали:

«Что это, как жизнь рабочая устроилась — работы, кажись, никто не боится, а всяк рабочий в нужде потонул, как пень в болоте?»

Тогда выступали большевики и рассказывали, как, отчего это все выходит, как надо бороться с врагом...

Из Владимира приехал губернатор. Вкруг губернатора вился Шлегель, жандармский ротмистр, служилый пес, — докладывал своему господину:

— Не извольте верить, ваше превосходительство, будто волнения происходят из-за заработной платы, — один предлог, ваше превосходительство. Все основание дела состоит в злостной агитации неблагонамеренного и вредного элемента, — вообще сказать, социалистов, ваше-ство. И смею предложить свое слово вашему превосходительству: всю силу нам полезно употребить именно в эту точку, следует изничтожить злокозненный элемент, причину всякого волнения, ваше превосходительство.

Губернатор раздумчиво мял усы, сочувственно хмыкал словам холопа, кивал доверчиво головой.

— Так, так... Это так... Это как есть так...

У губернатора готов был план помощи забастовщикам: в город стягивалась пехота, драгуны, на подмогу желто-

лампасым астраханцам откуда-то пригнали донских казаков: власти готовились обычным порядком.

Рабочие делегаты говорили с губернатором:

— Отчего молчат фабриканты? Ваше дело — на них подействовать!

Губернатор уверял, губернатор обещал. Губернатор пояснял через день:

— Поделать ничего нельзя: хозяева вольны отвечать и не отвечать, это ихнее право... Вот по гривенничку на рубль — они согласны...

Негодуя — отбросили подачку. Забастовку было решено продолжать.

Высылали фабриканты в разведку слуг своих — фабричных инспекторов. Старший губернский инспектор просил собраться обе стороны в мещанской управе и даже сам предложил совету рабочему выбрать на том заседании председателя — ишь ты, куда заметал. А потом — лисой... лисой... лисой...

— Вам, товарищи рабочие, самое удобное — это разобраться по фабрикам и вразбивку отстаивать свои требования.

— Мы же вам заявили на площади,— оборвали резко инспектора, — на то выбран совет, чтобы действовать дружно. Не бывать тому, чего хотите, забудьте, господин инспектор...

Закусил инспектор удила, промолчал. Обсуждались требования, выработанные советом, — несколько десятков пунктов. Разбирали, поясняли, принимали. Среди заседанья прибежал кто-то от фабрикантов.

— В типографии требуется отпечатать бумагу хозяину...

— Нельзя печатать!

— Но ему необходимо.

— Нам вот тоже тут необходимо: совет не разрешает печатать.

Масленой лисицей засластил было снова инспектор, хотел уговорить, убедить, но его и тут посадили:

— Обсуждайте пункты, господин инспектор, а насчет работы совет один справится; нельзя печатать!

Вспыхнул гневом инспектор, лязгнул в бессилье зубами и опять смолчал. Два его сопомощника тихо попыхивали глубоко припрятанным гневом.

Что б там ни было, пункты приняли. И политические приняли и фабрикантам всучили, а те похахалились:

— Учредительное собрание? Что же, можно, пожалуйста... Мы не возражаем, хоть завтра... А впрочем, с царем поговорите сначала, может, он и не захочет. Ха-ха-ха-ха!.. Что же нас касается, по существу — гривенник на рубль и — более ни гроша!

А Бурылин, Гарелин ли Мефодка, треснул по дубовому столу кулачищем.

— В Уводи все деньги стоплю... По миру сам пойду, а не дам ни гроша подлецам: пущай дохнут лучше, работу не кидают. Против своего хозяйского слова — шагу не ступлю. Что сказано — свято!

Дикие речи сумасбродного толстосума доходили до рабочих, и в гневной ярости слушали они те слова.

— Забастовку продолжать! На работу не вступать! Врут, гады, — сдадут!

Обе стороны крепки были — каждая по-своему.

Совет собирался в мещанской управе, открытые митинги каждый день собирались на городской управской площади. Скоро объявили власти, что митинги по городу — одна помеха; собранья вынесли на Талку.

Скоро власти заявили, что протоколы советских заседаний надо им присылать на просмотр. Посмеялись, плюнули на полицейскую бумажонку — и заседания совета перекинули на Талку.

И стала Талка словно рабочий университет: от зари и до ночи обучались на Талке рабочие мужественной дружной борьбе. Талка — малая речка — стала желанным, любимым пристанищем ткачей. Рано-рано собирался каждодневно совет — он заседал у соснового бора, на том берегу речушки, возле сторожевой будки. На заседанья совета приходили только его члены — сторонних не пускали; заседанья были спешные, строгие, деловые. Надо было взвесить и учесть все до прихода массы, каждый день давать ей отчет о своей работе, намечать дальше путь борьбы. На том берегу, по откосу — все гуще, гуще — со всех сторон: и с Ям, и от станции, от ближних залесных деревень, с Хуторова — группками собирались рабочие. Заполняли весь приречный луг, десятки тысяч теснились на побережье. Тут же прилипли мелкие торговцы — с хлебом, с квасом, с папиросами; людное поле шумит, ожидает начала.

И вот — представитель совета. Он рассказывает положенье дел к сегодняшнему утру, докладывает, что пришлось узнать-услыхать, что нового в обстановке, как дальше намерен действовать совет. Предложенья обсуждаются, голосуются, записываются на месте.

Выступают рабочие — кто о чем; так в течение нескольких часов обсуждалось положенье. Потом кто-нибудь выступал с политическим докладом, рассказывал о положенье, о борьбе рабочего класса, о международной солидарности... Часы проходили за часами. Уже свечереет, а десятитысячные толпы рабочих все стоят и слушают-слушают...

В конце — революционные песни; с песнями уходили по домам, чтобы завтра утром снова прийти и снова быть здесь до темного вечера. Иные оставались целую ночь — уходили в лес, зажигали костры, вкруг костров ночи напролет сидели, толковали, слушали, учились: Талка и в ночь была рабочим университетом...

Выступали здесь те же — знакомые и любимые: Евлампий Дунаев, Отец, Семен Балашов, Миша Фрунзе, Шорохов, Самойлов, Жиделев, Марта Сармантова... С докладами выступали приезжие, среди них Николай Подвойский... На ночь все скрывались, как могли, — уж зорко выслеживали вожаков полицейские ищейки... Часто переодевался Евлампий Дунаев, скрывался то в лесу, то по городским кладбищам, — как-то вместо него даже выловили сыщики схожего рабочего, трое суток проморили в каталажке, пока не расчухали ошибку.

Талка и ночь и день жила своей жизнью — днем гудела тысячными толпами, ночью золотилась кострами...

В городе — строг стоял революционный порядок — в городе ни шуму, ни драк, ни скандалов. По требованию совета закрыли «казенки» — винные лавки. Создал на Талке совет свою милицию. Ходили рабочие-милиционеры в черных ластиковых рубахах, опоясанные черными широкими поясами, в руках — палка, окрашенная в черный цвет. Милиция поддерживала в городе порядок. То, что не давалось полицейским, легко удавалось рабочей охране. Стояли рабочие патрули и у фабрик, зорко смотрели — не пришел бы кто работать, но не было никого у фабричных стен, только дутым, ощеренным индюком прохаживался господский сторож. Стояли наглухо замкнуты фабричные чугунные ворота.

Забастовка из Иванова перекинулась по окрестности: уж встали фабрики Тейкова, Вичуги, Шуи, Кохмы... Отовсюду на Талку съезжались представители, получали советы-указанья, захватывали кипки листовок и воззваний, возвращались крепко заряженные...

Типография советская спрятана была где-то по Лежневскому тракту; заведовал ею Николай Дианов; краску, бумагу, шрифты ему возили Отец, Федор Самойлов и другие ребята. Типография работала куда как лихо: выбрасывала то и знай десятки тысяч листовок, в тех листовках поясняла пути борьбы, поясняла каждый свой и вражеский шаг, рассказывала о том, что происходило на Талке. Листовки на время заменили газеты. Более близкого в эти дни не было ничего: листовки говорили про борьбу, листовки учили побеждать. Читались они нарасхват.

Фабриканты молчали, на требования рабочих ответа не давали. Снова и снова говорили рабочие делегаты с фабричными инспекторами, эти уверяли, что сделают все — и не делали ничего; говорили с губернатором — этот руки разводил недоуменно, голову вжимая в жирные плечи, посмеивался:

— Не из кармана я выну эту надбавку. Не хотят фабриканты, что поделаешь, — на то они полное право имеют, да-с.

Ходили делегаты и по фабрикантам, говорили с директорами-управителями.

— Ничего-с, ничего-с не можем. Хозяева уехали в Москву, пишут, что за жизнь свою беспокоятся здесь. А указаний нет, никаких нет-с; гривенничек на рубль, как говорили-с...

И они хихикали злорадно и слюняво.

А голод крепчал, рабочие распродавали барахлишко, иные на время уходили по деревням, многосемейные выбивались последними усилиями, в толщу рабочую вкрадывалась тревога, цепко хватала она материнское сердце, — матери дальше не могли смотреть без слез на ребят, оставшихся без хлеба, истомившихся в голодухе.

Тревога росла, проникала к самому сердцу массы, и те, что дрогнули раз, на другой раз боль свою прорывали ропотом, в третий раз горе свое развевали угрозами и проклятьями.

Шпики, ищейки, переодетые жандармы шныряли и следили за поворотом, замечали, как лютой ржавчиной разъедает голод самую сердцевину, доносили о том ищейковым главарям, и те подсчитывали сроки, когда можно будет выступить в открытую.

Совет выделил комиссию, эта комиссия выделяла самые голодные семьи, выдавали из грошового фонда чеки, по чекам шли рабочие в кооператив. Хоть сколько ни есть, а поддержка была. И на время притихало ропотное сердце, смолкали протесты, пропадала тревога тех, что дрогнули в безвыходности.

И как-то раз стало слышно на Талке:

— Фабриканты ответили, фабриканты прислали письмо...

В самом деле, перед собравшимися массами выступил представитель совета и распечатал не одно — целую груду писем. Фабриканты отвечали, каждый свое.

Но что ни писали там по-разному, у всех было одно: надбавки не будет никакой, кроме того, что сказано, — гривенник на рубль! Кое-где говорили про кухню фабричную, про бани, про страховку рабочих...

И как ни крепко голод глотку сцепил когтями — постановили грозно:

— Забастовку продолжать!

И с утра до ночи, ночь напролет жила, дышала Талка, делал свое дело рабочий университет. Бывало вначале — попробуй крикнуть: «Долой царя!» — эк как распалялись рабочие, как галдели:

— Неча царя трогать... Царь ни при чем — дела больше давай, надбавку...

Так было вначале, а теперь, всего через недели, те же смелые призывы против царской тирании встречаются восторженным и гневным криком: рабочий университет, как крот, прокапывал невидные пути в рабочем сознанье, добирался до самого сокровенного, перестраивал все на новый, невиданный лад.

Видели власти, как разрушает талочный крот вековые устои, понимали царские служаки, что не в шутку затеялось дело.

Второго июня губернатор повесил бумагу:

«Ни в городе, ни на Талке собранья отныне не разрешаю!»

Тогда спешно собрался совет рабочих депутатов в бору и постановил свое:

«Приказу губернатора не подчиняться. Собранья на Талке продолжать!»

Схлестнулись лицом к лицу два суровых решенья: эта стычка даром пройти не могла.

Раннее утро 3 июня. Теплы и тихи июньские дни. Хорошо на талочьем зеленом берегу. Хорошо у бора, где густы и пряны запахи высоких трав. Хорошо в бору, где расплылась над травами, над хвоей щекотная прохлада леса. На этот раз собирались под самым бором: с высокого берега, с луга мостиком перебирались над журчливой Талкой к опушке. И рассаживались группками по траве. Митинг не открывали — ждали, когда подойдут новые тысячи. С Хуторова, с Ям, от вокзала шли рабочие, примыкали к тем, что ждали у бора, все новыми кучками засыпали поляну, снижались к реке. Что-то дрогнуло вдалеке и заколыхалось черной широкой тенью.

Вон она ближе, строже тень, вот из облачка изумрудной пыли выскочила отчетливая казацкая кавалькада: казаки путь держали к Талке.

Рабочие, как были, остались сидеть на полянке. Около самого бора члены совета сбились крепкой взволнованной кучкой.

На берегу, переливаясь желчью, пестрели, суматошились лампасы астраханцев. С астраханцами впереди Кожеловский — полицмейстер. Казаки чуть замялись над речкою, но, видимо, все было сговорено ранее: торопливо спустили коней вниз, перемахнули мелководную тихоструйную Талку, вырвались на поляну к рабочим; те сидели и стояли, чуть оторопелые. Да и что в этом казачьем визите опасного, когда на управской площади все собранья проходили в казачьем и драгунском кольце?

Вдруг Кожеловский высоко и резко крикнул три раза взапал:

— Разойдись!

И не успели понять рабочие, что кричит полицмейстер, как выхватил он шашку, блеснул над головой и кинулся к группкам безоружных. Казаки гикнули, кинулись вослед.

Тогда только рабочие повскакали, кинулись врассыпную.

Те, что были у самого бора, юркнули меж деревьев, помчали по лесу — их не могли достичь казацкие шашки, им вослед казаки открыли огонь.

Но главная драма там — у насыпи, на открытом песчаном взгорье, куда побежала масса рабочих. Казаки, как дьяволы, метались по всем направлениям, стреляли прямо в густую толпу, наскакивали и мяли бегущих под конями, махали шашками, резко свистели смолеными нагайками.

Тех, что падали убитые и раненые, никто не собирал, и через них и по ним скакали озверелые от крови казаки.

Часть отбитых с насыпи окружили и загнали вновь на поляну; скоро их прогнали в тюрьму.

В ужасе неслись рабочие через насыпь на город. Страданьем и гневом искажены лица. Страстная месть загоралась в глазах. Бешеным потоком хлестали они по улицам, вырывали, сбивали телеграфные столбы, рвали провода, а потом, ввечеру, стреляли на постах в городовых и по жандармам, зажгли на Ямах Гандуринскую ситцевую, склад фабриканта Гарелина... Скоро запылали в окрестностях фабрикантские дачи — Бурылинская, Фокина, Дербенева.

Рабочие в грозной мести проливали свой гнев.

Совет наутро десятками тысяч пустил листовку, где рассказывал про вчерашний расстрел, где призывал рабочих стоять на своем, держать мужественно знамя борьбы: пусть порют, пусть расстреливают, — придет черед и нашей победе!

И снова шли мучительно голодные дни. Только уж на Талке больше не собирались — ночами уходили в лес, далеко выставляли дозоры, собирались в глуши, обдумывали там, как дальше вести борьбу.

И как-то раз, через неделю после расстрела, загудели вдруг фабричные гудки: хозяева верили и ждали, что измученные, перепуганные рабочие сами придут на работу. Но никто не пришел. Повыли-повыли холостые гудки и смолкли. Пождали-пождали распахнутые голодные ворота — и захлопнулись. Угрюмы и гневны сидели по избам рабочие — без приказа совета на работу не вступали.

Тогда поняли и расстрельщики, что так дело кончиться не может: собранья на Талке разрешили вновь, даже сместили, перевели куда-то полицмейстера Кожеловского.

И снова, как прежде, оживали с утра талочьи берега, и снова на Талке — рабочий университет. Только и речи и все выступленья, разговоры, будто черной вуалью, подернуты траурными воспоминаньями о недавней потере.

Уж иссякли последние крохи стачечного фонда, выдавали последние билетики на хлеб в кооператив. Дальше надеяться было не на что, стачку надо было подводить к концу.

23 июня собрались, как раньше, перед управой. Евлампий Дунаев говорил:

— Больше мы не можем смотреть на страданья измученных матерей, на голодных детей. Мы требуем, чтобы наши условия были приняты. Мы требуем работы, мы требуем хлеба. Дальше продолжаться так не может. Или мы складываем с себя ответственность, — пусть изголодавшиеся рабочие массы действуют сами по себе. Ежели что случится, помните! — и Дунаев ткнул в управские окна. — Помните, что мы сняли с себя ответственность: она падает только на вас!

Бурно шел и бурно окончился этот голодный митинг. Гневом и местью дрожали речи. В накаленном воздухе чувствовалась близкая гроза. Тесно сомкнуто вкруг управской площади казачье и драгунское кольцо.

На фабричных воротах скоро развесили призывное:

«Ежели в июле рабочие не встанут на работу — фабрики закроются до сентября».

Говорилось там о десятипроцентной надбавке и о том, что день рабочий снижается от одиннадцати с половиной до... десяти часов!

А рядом другая рука писала негодующее:

«Товарищи, держитесь крепче, не поддавайтесь подлецам!»

«Потерпим, товарищи, победа за нами!»

Видел совет рабочих депутатов, что стачку пора вести к концу: всему своя мера, свой предел.

Рабочий совет все учел, видел вперед и понимал, что, не кончи стачку теперь же организованно, она может распылиться сама по себе: глубочайшая нужда достигла предельной грани.

Тогда последний раз собрались на Талке десятки тысяч измученных ткачей и выслушали от своего боевого совета прощальную речь:

— Средства наши иссякли. Помощи неоткуда ждать. Мы с лишком два месяца боролись, товарищи,— неплохо боролись! Не напрасно голодали. Пусть добились не всего, что хотели с бою взять, но мы окрепли и выросли в этой борьбе. Наша следующая схватка с капиталом будет уж не такая. В той схватке, надо думать, одержим мы уж не такую победу. А теперь — на работу, товарищи!

И 27 июля вновь загудели фабричные гудки, радостно задымили соскучившиеся трубы, вздрогнули каменные корпуса — рабочие пошли на работу.

1925



КАК УБИЛИ ОТЦА

Над фабричными корпусами, над лабазами, над сизыми колокольнями Воздвиженья, Вознесенья, Покрова встала грузная тень. Гонимые ветрами, мчатся по облачному небу кавалькады набухших дождями туч. Осень-осень... Поздняя, знобкая, переветренная осень...

Отчего же в эту хмурую хлябь, в гнилую октябрьскую пасмурь так неистово ликует город, черный город Иваново-Вознесенск? Откуда эти праздничные толпы, куда они, ткачи, устремили взволнованный песенный бег?

Просторные улицы, щели-переулки, корявые ладони площадей затонули людскими потоками.

Под топот тысяч ног в такт выбивают марш:

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

И откуда-то с дальних улиц раздольными раскатами рокочут бесповоротные клятвы «Варшавянки»:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут...

Толпы вмываются в толпы, факелы — в факелы, смешались знамена в багровом плеске, катит валами густая черная людская волна...

Против воздвиженской бледной колокольни, вниз под горку — каменный белый дом: клуб господ приказчиков.

В этот вечер все переулочки тянут тонкие лапки только сюда: в этот вечер у клуба приказчиков людный митинг, городское торжество. Кто-то неведомый скажет и рас-

скажет, как над городами российскими, над полями сермяжными выплыл царский дар:

— Конституция.

— Манифест семнадцатого октября.

Вот откуда и пенная радость города, вот почему и в хмурь и в ветреную непогодь, перекликаясь победными песнями, сомкнулось в клубок людское множество.

Собирался комитет большевиков. Он чуял цену государеву манифесту. Звонкие побрякушки обетов царских ему не застлали чуткий слух. Расцвеченные паникадила поповских клятв не заслепили зоркого взора.

Комитет большевиков стоял на посту: сторожил многоголосую детскую радость.

Сегодня все речи — только о свободе!

— Да здравствует свобода!

И эти тысячи, десятки тысяч горожан все в один крик:

— Ура!.. Ура!.. Да здравствует свобода!

— Председателя! Выбрать председателя!

В толпе заухали желанные имена. Помчали, заметались, зааукались они меж каменных стен домов, колоколен, заборов. Казалось, и колокол древний что-то смутное гудел в густой вышине, казалось, что-то всклинуть рвались хлеставшие по ветру знамена; захлопали факелы судорожными кровавыми языками.

Билась площадь перед белым домом в страстной охоте.

И вдруг на факельную розовую тень всунулось круглое лицо Странника в сивой щетине усов.

По-зверьи сверкнул зеленый взор, остро в тьму всекся вскрик:

— От-ца!

И как заслышали теперь накаленные толпы факельников это родное, жданное имя (где ты, имя-пушинка, в тысячеглотном гудном реве?):

— Отца... Отца... Отца...

Вышел на факельный свет Отец — Федор Афанасьевич Афанасьев, старый ткач.

Знает его весь рабочий люд. Знает и бережно любит. Знает, что был и бился Отец в рабочем Питере, что вступил он на этот путь еще в те далекие дни, когда шли в боевой шеренге незабываемые:

Петр Алексеев, Степан Халтурин.

Эк куда, в какую глубь уходят Отцовы дни!

А в первый — первый! — майский в России день были сказаны четыре речи.

Одним из четырех говорил Отец.

Вот он вышел на розовый отсвет огней в черном пиджачке, — пальтишко поверх, — в черных штанах, сдвинута кепка на лоб. Высушили долгие годы нужды и борьбы: худ, сух и высок Отец, как изъеденный ветрами сухостойный клен.

Хилое, старое тело опер на костыль — бодрится и держится прямо, а немочь клонит к земле.

Вот он левой рукой огладил в ожиданье черную в проседи бородищу, подергал широко заросшие усы, потрогал старческие, шнуром чиненные очки на крутом носу — все ревела от радости бескрайной толпа:

— Отца... Отца...

Ссохлось в глубоких морщинах изжитое лицо; казалось, остыло оно в молчаливом, в укрытом горе, но посмотрите, вы гляньте в этот миг на Отца: из впалых, глубоких орбит совсем по-молодому, как у раннего юнца, загорелись чистые глаза старика. Да и полно, какой он старик: Федору Афанасьевичу нет и полсотни лет...

— Ти-шше! — зычно и резко сорвал Павел Павлыч гам. Павел Павлыч — рядом с Отцом, близкий друг, большевичище: сутул, кряжист и против Отца — как дедушкин внук.

— Ш... ш... ш... Тш... ш... Цс... с... с...

По горке, на Панскую улицу, в переулке зашипело, засвистело в темноте. И вдруг тихо стало.

Тогда медленно переложил Отец из правой в левую костыль, молодо вскинул голову, поднял высоко тощую руку — толпа вздрогнула, услышав родное:

— То...ва...рищи!

Красным ситцем обернут клубный фонарь, трепетно бьются красные знамена, плещутся факелы в багровой полутьме, словно цветы полевые здесь и там, здесь и там, красноплатые головы ткачих.

У Отца на груди — и у множества — красные ленточки вшиты в самое сердце...

— Товарищи!

И треснутым счастливым рокотом держал Отец свою предсмертную речь:

— У меня нет слов, чтобы сказать, как рад... такая великая честь: вы избрали меня председателем первого свободного митинга.

— Товарищи! Спасибо вам за эту честь.

Вспомнились Отцу долгие годы непросветной маяты, светлым лучом полоснули они по сердцу — эти октябрьские дни.

Он стоял теперь под знаменами и верил, верил, что победа близка.

Оттого и дрожал, срывался старческий голос, оттого под чиненными шнурочком очками скатывались в щели морщин слезы.

Вдруг показались казаки. Цокали по камням подковы. Плети готовы в руках. За плечами винтовки в заряде.

Сомкнулась толпа, зарычала, загрозила каменьями. Кожеловский — полицмейстер — казаков увел в казармы.

Говорил Павел Павлыч. Потом говорил Одиссей: косматый, голосистый, любимый. Говорил Странник — Семен Балашов, покрывал он площадь сердитым, режущим криком, не верил царским свободам, неверьем пронизал, насторожил притихшие толпы. Около стоял и рвался к слову пламенный Арсений — юноша Миша Фрунзе; с Мишей о бок — Станко, беззаветный Станко, вождь боевых дружин; Шорохов, Дмитрий Иваныч — ткач, большевик; Федор Самойлов, что в царскую думу ходил потом от рабочих, Маша Труба — все они здесь, бойцы подполья, кольцом сомкнулись вокруг Отца.

И в полночь, когда росой заиндевели крыши, а острый ветер стих, — потушили красный фонарь у клуба, и торжественные толпы потекли по улицам и переулкам; рдяные факелы отмечали их путь.

«Марсельеза» и «Варшавянка» грохотали над городом.

Поодаль сторожили казацкие сотни.

Это было двадцатого октября.

Двадцать первого целый день город захлебывался в праздничной радости; по улицам ходили с красными флагами; ораторы на перекрестках держали речи:

— Права... Свобода... Конституция...

Двадцать второго на главной площади, перед управой, с утра собирался город.

Большевики готовили митинг — здесь холодно и строго надо было вспороть живот манифесту.

И снова в центре, вкруг трибунной бочки — большевики. Веют весело легкие знамена. И словно дуб в кустарной поросли, раскинулось над площадью огромное черное полотнище:

«Слава павшим борцам за свободу!»

Это поминают рабочие тех, что недавно, в июньские дни, на Талке погибли в казачьем налете.

И сразу — на площади — тихо.

Вырос на бочке Странник.

— Товарищи! Прежде чем открыть — почтим память наших лучших... расстрелянных на Талке.

Встрепенулась густая площадь, сняты рабочие кепки, вмиг остыли веселые лица. Тихо и грустно, все вырастая слезами и скорбью, мужая гневом, поплыл над мертвой площадью похоронный гимн:

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беззаветной к народу...

Вспоминали павших. Вспоминали близких. Вспоминали любимых. Женщины плакали, красным платком утирая слезы.

А гимн, как волны в шторм, все мчал вперед, крепчал в борьбе, раскатывался клятвами в неотмщенных колоннах ткачей:

Настанет пора, и проснется народ,
Могучий, великий, свободный!

Когда оборвали последнее слово — долго недвижная, странная стояла молча блузная рать.

Митинг открывался. Был полдень — двенадцать часов. Ночь напролет лил зычный ливень — дороги взмешаны, как тесто в квашне. Мокры асфальты, в поту мостовые, после ночного ливня нервно сечет толпу колючий наследыш-дождь. Небо в табачных мутных тучах. То сгущаясь, то бледнея, трудно повисли они в моросящей мгле. Сиверко. Зябко. Изморось дрожью бежит по рядам. Осень-осень, глухи октябрьские дни.

Сжались большевики у трибунной бочки. Ночью заседал комитет, распределяя — кому что говорить:

о политическом режиме, об экономике рабочего, о безработице, вспомнить 9 января — связать его с царским манифестом...

Каждому точно, коротко сказана роль; каждому место — кто за кем. Говорил Странник — Семен Балашов, говорил Одиссей, вырвался на бочку Фрунзе и площадь покрыл негодующим, резким словом:

— Не верьте, не верьте, не верьте царю... Это только ловушка. Рабочие должны продолжать борьбу...

И дружно в ответ гудел синеблузый улей, загорались глаза боевым запалом, билось сердце в ответном крике.

— Долой! — крикнул кто-то издалека.

— Долой!.. Долой!.. — загалдели с Торговых рядов, и эхом перекатились в Крестовоздвиженских переулках. Шевелилось казацкое кольцо зловещим шелестом, нагайки треплют по бедрам коней.

Мужественный Станко рассыпал в толпе боевиков — сжали боевики в карманах браунинги. Над площадью свисли грозовые тучи.

На площади против управы, под навесом — торговый пассаж. Сюда стянулись торговцы, мясники, огородники — городские, чистоплотники, расползлись они по переулкам, густели, обрастали, смелели. Но лишь только начинала рычать рабочая рать — смолкали пассажники, ныряли в гущу, понимали бессилье перед этой безмерной силой. Крики — вскриками, но идет митинг неумолимым ходом, говорят свое большевики — и снова безмолвна площадь.

Встал на бочку Отец, сухи и строги выцветшие глаза, тих усталый, ломкий голос:

— Товарищи. Мы на свободе здесь говорим про свои дела, а рядом, в тюрьме, томятся наши товарищи... Мы обязаны их освободить...

И лишь только сказал — колыхнулась площадь, вскричала крепким, радостным криком:

— На тюрьму! На тюрьму!

Вполз на бочку Добротворский, полицейский чин, заявил, что «беспорядков власть не потерпит», но потонули жалкие слова в тысячеустых криках:

— Освободить! На тюрьму!

И лава тронула — мимо Воздвиженской церкви, по Приказному мосту, к городской тюрьме,

У тюрьмы взвод солдат мрачнел винтовками.

Солдатам не было приказа стрелять. Перепуганные тюремщики отдали грозной толпе томившегося большевика — в городской был только один заключенный.

— На Ямы! В Ямскую тюрьму!

И снова тронулась масса — мимо Колбасного угла по широкой Соколовской улице...

Ямы — рабочий квартал. На Ямах нет ни асфальтов, ни мостовых. Ямы, как скотное стойло, затонули в смраде, в грязи, в нищете. Что ж, в самом деле: чистой публике города незачем быть в этих трущобах, чистая публика города ходит окольными путями.

Октябрьские ненастные дни, густые октябрьские ливни взмесили непролазным месивом ямские колеи — ни пешему, ни конному ходу нет, — жили, как на острове, ямские ткачи!

Катилась по Соколовской митинговая рать. У церкви Александра Невского, на перепутье, выскочили казаки:

— Разз-зойдись!

Но жалки и бессильны над головами повисшие нагайки. Заволновалась толпа, заворчала булыжниками, станковские боевики сверкнули оружием.

Подались казаки с пути — лава катилась вниз, на мост. И когда окунулись в аршинное месиво — кучка за кучкой отлипала в пути, жалась к палисадникам, оставалась на мостовой; редели митинговые массы, к тюрьме Ямской подступали не тысячами — сотнями.

Сотни вели большевики.

У Ямской тюрьмы — казацкие заслоны. Сотнями не взять заслоны с бою. Говорить с казаками пошел Отец, вместе с Отцом — Павел Павлыч.

Что было казаку рабочее слово? Бились в глухую тюремную стену отцовские слова. Из тюрьмы казаки никого не отдали. Уходили рабочие вспять — путь держали на Талку, на речку, где летом бурно собирались бастовавшие рабочие.

Когда миновали Ямы, на Шереметьевской путь пересекла черносотенная гуща. Эту гущу, как ушли рабочие, поили водкой на управской площади, кадили кадилами попы, купцы натаскали к ней икон и царских портретов, раздобыла черная сотня трехцветные знамена, шла теперь хмельная и буйная, пела «Боже, царя храни».

Поодаль, мерно колыхаясь, желтели широкими лампасами астраханские казаки, охраняя черную стаю. И лишь завидели с Ям полыхавшие красные знамена остервенелые мясники, торговцы, огородники, пьяное отребье, кинулись с визгом и уханьем, скакнули вперед казаки, в сочном месиве ямских переулков избивали рабочих.

Уцелевшие перебежали Шереметьевское шоссе, с оставшимися знаменами побежали на Талку. Ковылял измученный Отец, ворчал сердито:

— А знамя где?

— Взяли, Отец, — ответил скорбно чей-то голос.

— Взяли? Без бою взяли?

И он сурово глядел через очки сухими печальными глазами.

Уж сумерками наливался октябрьский день, когда прибежали на Талку. Вечерние туманы спадали на тихое пустое поле. Ямские сотни обернулись десятками. В горе стояли у мостика, тихо, словно в покойницкой, говорили о шереметьевской бойне, считали редкие ряды, свертывали знамена. На пустынном лбище приречного луга застыли крошечной кучкой. Струилась Талка жалобными тихими струями. Стоял немой и черной стеной молчаливый бор. Мерно вздрагивали в шелестах густые мохнатые лапы сосен.

В это время издалека прояснилось смутное пятно черной сотни — она валила на Талку. Позади, как там, на Шереметьевской, вздрагивала казацкая конница.

Решили отойти за мостик — встали около будки, у бора. И когда ревущая пьяная ватага сомкнулась на берегу — заорала к будке:

— Высылай делегатов... Давай переговоры!

Стояли молча большевики. Никто не тронулся с места. И вдруг выступил Отец, за ним Павел Павлыч. Их никто не вздумал удержать — двое через луг ковыляли они на речку. Вот спустились к мостику, перешли, встали на крутом берегу — их в тот же миг окружила гудущая стая. И только видели от будки большевики, как заметались в воздухе кулачищи, как сбили обоих на землю и со зверьим ревом заплясали над телами. Выхватил Станко браунинг, Фрунзе кричал чужим голосом:

— Бежим стрелять. Пока не поздно. Товарищи!

Николай Диаиов крепко Фруизе схватил за рукав:

— Куда побежишь, — или не видишь казаков?

Дрожали в бессильиом гиеве, но все остались у будки... Вот Павел Павлыч вдруг вскочил, спрыгнул к речке и через мостик мчится сюда... Его подхватили, стащили в лес...

И видно, как поднял окровавлениую голову Отец, ио вмиг его сбили иаземь и сиова бешеио замолотили глухими, тупыми ударами...

Когда окончеиа была расправа, повериулась дикая стая, шумно ушла к вокзалу. С чериой сотней весело ускакали желтые казаки.

В пустом и тихом поле лежал одииоко окровавлеиный труп Отца.

Тогда подошли товарищи и увидели смятое тело друга. Кровью и грязью кровавой было излеплеио лицо. Р комьях спуталась серебристая черная шершавая борода, обвисли мокрые тяжелые усы. Переломаиные, свернулись в дугу ноги. Сквозь разодраиную чериую рубаху густела синяя, страшиая грудь.

Подняли молча труп на руках, несли через речку, вступили в лес, спрятали в глухой чаще.

Из кольев и мешков сладили носилки, положили иа них Павла Павлыча, унесли к какому-то ближнему фельдшеру, сдали в надежиые руки.

Поздией ночью во тьме уходили из лесу.

Это было 22 октября.

23-го иа управской площади монархисты собрали тысячи народу, разжигали страсти погромными речами:

— Бунтуют Россию!

— Врагов народных — уничтожать, как вшей!

— За нашего государя, за нашего государя!

Попы кадили на площади:

— За веру святую... за господнюю церковь.

И, возбужденные, тронули тысячи к собору.

Попы святили, попы кропили водой, служили молебиы, кадили на погром. И вот с икоиами, с портретами, с хоругвями хлынула по городу чериая сотия. Два дия громили город. Рыскали по фабрикам, по домам, вытаскивали иа расправу «депутатов», рабочих вождей, мучили их, убивали на глазах в смертной дрожи дрожавших ребятишек. Город осатаиел в кровавом чаду, в терпком ужасе остыли рабочие корпуса.

И когда, пресытившись буйством, отошла погромная череда, — решили ночью большевики схоронить Отца: труп его долгие дни таили от всех. И в глухую ноябрьскую ночь, в ночь на шестое, крались темными переулками к бору.

Привезли на Талку сосновый плотный гроб, гроб обили в багровый кумач. Качались у гроба с концов золотые кисточки, играли в колеблемом факельном зареве. Голову Отца обернули в красное знамя, оправили черный отцовский пиджачок — с него не вытравишь кровавые следы! Пригнули тощие надломленные ноги — втянули в сосновую раму гроба. Шрамами черные волосы расползлись в чесучовом лице, упали глубоко внутрь пустые широкие глазницы.

В два аршина, неглубоко, взрыли тугую могилу, стояли с заступами на рыхлых бугорках похоронной земли.

Молчала сырая ноябрьская ночь. Пропали звезды в каштановую темень. Плакал сосновый бор похоронным гудом. Плакала тихоструйная Талка, как девочка, — робким заливчатым звоном. Трещали жестким хрустом оранжевые факелы. Большевики стояли над гробом, словно в забытьи, и глядели на безжизненное лунное лицо Отца.

— Пора, — шепнул кто-то тихо и страшно.

Скрыли под крышку родное лицо. Всколыхнулся в руках кумачовый гроб, сдвинулись факелы, словно засматривая в останный раз на своего факелоносца, и мерно, колеблемый жутью, гроб пропал на дно. И был единый миг, когда над гробом встало гробовое молчанье. Кто-то рыдал из тьмы, скрытый факельной тенью. Кто-то взял с бугорка влажную горсть земли и, осыпав ее в багровую чернь могилы, продышал:

— Эх, Отец, Отец...

И тогда застучали навзрыд слежалые комья, заржали лопаты о стоптанный бугор.

Угрюмы и немы стояли вкруг большевики...

И кто-то, схваченный слезами, протяжно и глухо вывел первое слово гимна.

Над черным полем, над талочьими берегами, по гулкому сосновому бору уходила гулами далеко-далеко песня борьбы и горя. Стояли и пели. Стояли и плакали. Не глядели друг другу в глаза.

Потом встал над могилой Странник — в зыбком голосе колотились слезы:

— Отец! Прощай, Отец! Прощай, товарищ! Ткачи станут ходить на твою могилу, крепче стесня колонны, пойдут по пути, проторенному тобой. Спи, Отец... Теперь уж прощай навсегда!

В черной ноябрьской ночи уходили скорбно от свежей могилы. Смолкали голоса. Потухали факелы. Над талочьими берегами опустилась глухая тишина.

1925





НА ПОДСТУПАХ ОКТЯБРЯ

Мы хотим, чтобы Первое мая было теплым, светлосолнечным днем. А сегодня так скверно: моросит изнурительный, бесконечный дождь; по выбоинам дорог хлюпает мутная вода; посерели и принахмурились дома, сараи, заборы; низко опустилось дымчатое, скучное небо.

Ах! Первое мая должно быть совсем иным. И не только я, — мы все ожидали его в лучах, в цветущей зелени, с голубым высоким небом.

Теперь, я думаю, всем тяжело и обидно, как мне; даже не только обидно-тяжело, а опаска берет. Ну, да как никто не придет, одни знаменосцы? Кому захочется в этакую гнусную слякоть истязать себя долгие часы? Не подумает ли каждый: «А пусть без меня... Что я один? И не пойду — хватит народу... Дай-ка пережду окаянную хмару»... Гвоздем торчала эта мысль. И беспокоила...

Я вхожу на широкий фабричный двор. Он напомнил мне распростертую засаленную рабочую блузу, когда от дождя по ней стекает масло, известка, нефть, прилипшие комья грязи...

На пустынном дворе еще бо́льшая тоска, чем на безлюдных утренних улицах...

Комнатка у фабричного комитета небольшая — черная, прокуренная, полутемная.

Мы сегодня пришли сюда спозаранку: не дошили вчера атласных знамен, не достроили подмостков театра;

а открыть его надо сегодня же, Первого мая. Я не первый пришел: Катерина Лунева, Настя, сестра ее, Гаврилов, Никита Губан, старик Алексеич,— вон их сколько,— уж не ночевали ли тут?

— Здорово, товарищи!

— Здравствуй, Павел! Нá молоток — иди на сцену, тебя там ожидают на подмогу.

Я ухожу. Но прежде чем уйти, как всегда, смотрю на Катерину: у нее под опущенными ресницами не вижу глаз; губы сложены строго; низко опущен платок — она вся перегнулась, склонилась над работой. Не стану мешать, не оторву, не скажу ей ни слова, лучше послушаю — полюбуюсь, как она станет говорить рабочим про Май: так постановил фабричный комитет, чтобы Катерина сегодня говорила, — ее любят и уважают, такую рассудительную, умную и строгую.

Длинным-длинным коридором (такие только на фабриках) я пробираюсь к театру: мы его построили в пустующем сарае, когда-то забитом от низу до потолка хозяйскими товарами. На минутку остановился я и слушаю: тихо. Где-то за стенами чуть гудят человеческие голоса, а оттуда, спереди, то молотком постучат, то проскрежещут ручником-пилою. В этом коридоре я, как в подземелье: сыро, темно, даже страшно немного... Как тяжело быть одному: и здесь, и там вот, на улице, под скучным слепым дождем...

Я выхожу из коридора прямо в сарай и здесь работаю. Мне все скучно попрежнему, да вижу я, что и товарищам моим не весело. Стучим, строгаем, пилим, таскаем, режем, вбиваем... Проходят часы. Как прежде, падает дождь: непрерывными, бессильными, мертвыми каплями.

Когда на две, на три секунды у нас случалась тишина — не стучали молотки, не визжали рубанки и пилы — через стены к нам доносились какие-то звуки. И чем дальше, тем они становились явственней и громче. Гудит... Гудит... Мы понимали, что это — гомон человеческой речи... «Значит, не все пропало, — подумал я, — может быть, и праздник состоится по-настоящему...» Вместе с говором и шумом, который все усиливался за стенами, ко мне в грудь проникало новое чувство, я замечал, что у меня хоть и медленно, а все-таки пропадает, рассеивается понемногу то гнетущее, мучительное состояние,

с которым я шел сюда, которым полон был до этой минуты.

Кончена работа. Мы достроилн, что хотелн. Я бегу обратно длинным мрачным корндором, и он мне кажется уже совсем не таким отвратительным, как прежде. Лишь только поднялся по ступенькам — прямо к окну. А окно смотрнт в фабричный двор. Двор переполнен рабочнми.

«Так что же это такое? — чуть не крнкнул я. — Неужелн правда? Значит, ни слякоть, нн дождь, ни хмурое небо — ничто нипочем...»

Я почувствовал, как краска стыда залила мне лицо, как я сам себе вдруг показался и смешным, н маленьким, и жалким со своимн куриными утреннимн сомнениями.

Взволнованный, спешу я в комитет, а туда не проберешься — все ходы-выходы заполнил народ. Толпа колыхнулась к выходу — это торопились открыть во дворе собрание, чтобы идтн на главную, на Советскую площадь, куда соберутся к условленному часу все фабрики. Поплыла толпа. С нею плыву и я. Когда поравнялся с дверью, пахнуло все той же сыростью, что н утром, так же бесстрастно и печально падал дождь, так же угрюмо было свннцовое небо... А у меня дух захватывало от радости. Я торжествовал. Я был счастлив в те минуты. Я даже чувствовал себя так, как будто кого-то и в чем-то победил...

До сегодняшнего утра нам не показывали новых атласных знамен. Вот онн, у трнбуны; я спешу нх рассмотреть:

«Да здравствует советская власть».

«Вся власть Советам».

«Долой десять миннстров-капиталистов».

«Над производством — рабочнй контроль».

«Передадим землю крестьянам, фабрики и заводы — рабочим».

«Да здравствует мнр».

«Долой проклятую бойню».

«Да здравствует Интернацнонал».

«Смерть Капиталу. Слава Труду».

Ах, какне это зажигающие лозунги!

С каким захватом, с каким волнением из уст в уста передают рабочне эти огненные слова! Вот целн, к кото-

рым надо стремиться. Вот знамена, под которыми надо идти.

Скорее же, скорее на площадь, там будет нас еще больше, туда все фабрики принесут такие же атласные и шелковые знамена, где будут не вышиты — выжжены каленым железом такие же пламенные, зовущие слова.

Медленная, гордая, сильная, входит по ступенькам Катерина.

— Товарищи! Этот день — наш. Мы посылаем сегодня еще громче свой привет рабочим мира. Мы сегодня еще громче проклинаем бойню, устроенную капиталистами. Мы больше не хотим воевать. Не станем. Под этими знаменами, под этими лозунгами — поклянемся во что бы то ни стало добиться победы рабочего класса...

Недолго говорила Катерина. И не надо было долго говорить: вдохновенные лица рабочих, решимостью сверкнувшие взоры, простые, словно литые слова, эти выкрики-клятвы, этот заключительный восторженный рев — все сказало о готовности бороться, о готовности страдать, о вере в победу. Мы пели «Интернационал». Что-то хотел еще сказать табельщик Каплушин, а ему крикнули из толпы:

— Сними с живота дареные хозяйские часы.

— Знаем мы тебя, подлыгалу.

— Ишь какой выискался защитник рабочих.

— Беги лучше — пошепчись с хозяином...

Напрасно Каплушин махал жиденькими ручонками, напрасно брызгал слюною, торопясь что-то доказать и разъяснить, — из тысячи грудей неслось победное пение... Мы тронулись на площадь...

Никому не было дела до хмурого неба, до расслабленного, противного дождя, до сырости, грязной дороги, истыканной лужами.

Взявшись за руки, рядами, колоннами шли мы по широким улицам, и толпа все росла, облипала чужими, случайными, которые не могли устоять перед нашей силой, перед стройностью, перед новыми песнями.

Лейся вдаль, наш напев,
Мчись вперед.
Над миром знамя наше реет
И несет клич борьбы,
Мести гром,
Семя грядущего сеет...
Оно горит и ярко рдеет;
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем...

Вот она — площадь. Гремят оркестры: сюда уже пришли и революционные полки. Знамена — знамена — знамена — кругом знамена: алые, багровые, рдяные, ярко-красные...

На площади пять трибун... И с каждой трибуны все одни слова:

— На борьбу! На борьбу, рабочие! Победа только впереди — это еще не победа.

— Мы готовы! — отвечали рабочие.

— Мы готовы! — отвечали полки.

Шелестели знамена, и казалось, будто они тоже говорят, соглашаются, одобряют...

Так в Мае готовились мы к Октябрю.

1922



НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

Мы знаем, что 25 октября совершится переворот — именно 25-го, ни раньше, ни позже. Центральный бой будет в Питере и Москве — там решается почти все.

Там будет нужна наша помощь: мы должны им сказать, что сами готовы, что можем дать своих лучших солдат, что здесь, у себя, мы — победители.

Когда один, другой, десятый, сотый город скажет, что и он победил, что и он готов к помощи, — только тогда победа. Деревня победит вослед... Мы это знаем и лихорадочно готовимся к роковым, решающим дням.

Рабочим за октябрь выдано по пяти фунтов дрянной муки. Больше не дадут ничего, надежд на близкую получку нет, достать неоткуда, а покупать им не на что и негде. Положение грошовое.

Мы приходим на митинги, многотысячные митинги ткачей, которые собираются у себя по фабричным дворам.

Приходим, сами до тошноты голодные, говорить с ними о голоде.

— Рабочие! Дорогие товарищи!.. Видите сами — откуда мы добудем хлеба?.. Ближнюю неделю так и не ждите, не будет совсем... А там... там, может быть... твердо не заверяем, а надежда есть... Вы за октябрь получили только пять фунтов — это тяжело; но что же делать, коли хлеба нет и не видно: все картофельную шелуху жуем...

— И картофельной-то нет, — простонет из гущи со скорбью ткачиха, и ей глухо отзовется старая, строгая, мрачная соседка:

— Ах ты, господи, что же делать-то будешь...

— А вот что, — взвизгнет откуда-то женский крик, — вот что делать: у меня два дня не жрамши дети сидят!.. Ишь словарь какой нашелся (это уж к нам), на что мне слова твои, ты хлеба дай, хлеба, а то мне — тьфу на тебя... Вот что...

Это мать. Она не говорит, а, прыгая на месте, пронзительно и часто причитает, неистово машет руками. Грани терпения перейдены, ее уговаривать невозможно.

Молчаливо стоят угрюмые, суровые ткачи, они понимают голодную мать — не мешают ей в криках, в протестах, в угрозах отвести взволнованную душу. И мы замолчим.

Так одна за другой, заражаясь скорбью, вспомнив плачущих голодных ребят, еще больней, еще острей почувствовав вдруг свою муку лишений, женщины-матери, измученные ткачихи взывают о помощи, бранят и проклинают — кого?.. Сами не знают кого, голосят, словно у дорогого гроба...

Спокойны, строги, серьезны стоят без движения ткачи...

Проходят минуты острого негодования, жалоб, безумных протестов и угроз... Море утихает, снова можно сказать; говоришь — и слушают тебя, и верят тебе, и знают, что помощь придет все равно откуда-то из совета, от этих вот стоящих на бочках людей, которых выбрали они же, ткачи, которым вверили свою жизнь и которых можно крепко побранить, излить на них всю невыносимую боль страданий, голода, болезней и лишений на каждом шагу и каждый миг: свои, не обидятся.

Пробовали на эти митинги проникать мясники и в бурные минуты недовольства и угроз начинали сами кричать, только — по-своему, по-мясницкому... Их узнавали, иной раз колотили, выбрасывали из рабочих дворов:

— Не лезь в чужое дело — здесь свои бранятся, сами и столкуются...

Над толпою проносятся слова:

— Мы опутаны изменой и предательством. Правительство бессильно: оно продолжает кровавую бойню, оно фабрики держит за фабрикантами, не дает крестья-

нам землю... Станем ли дальше терпеть? Сила в нас, мы все можем сделать!

— И сделаем... Но лишь тогда, когда власть возьмем в свои руки!

— Верно, верно! — вырывается из сотен и тысяч грудей. — Вся власть советам! — Долой министров-капиталистов! Долой социалистов-изменников!

Забыли про голод, забыли про тяжелую нужду, — вот они стоят, рабочие, готовые на борьбу, самоотверженные, сознательные, неумолимые в своем решении...

— Подходят дни, — мчатся новые обжигающие слова, — последние дни. Решается наша судьба. Пролетарская Россия готовится к бою... Готовы ли вы, ткачи?

— Мы всегда готовы...

— Так знайте же, что в близком будущем нам придется постоять на посту!

Окончено собрание — зашумела, заговорила, заволновалась толпа, рассыпалась-потекла в разные стороны... Рабочие были готовы встретить врага.

На железной дороге — в депо, по мастерским, у водокачки — шныряли какие-то шептуны, задерживали рабочих, уверяли их, что надо скорее остановить движение, потому остановить, что в Питере и в Москве захватчики хотят отнять народную власть... Им не надо, говорили, давать помощи, их надо оторвать от всех, оставить одних, там и добьют их молодцы-юнкера...

Рабочие недоуменно смотрели на агитаторов, потом шли в железнодорожный комитет и докладывали об этом своим «вожакам». Хотели шептунов изловить, да пропали, — так и не узнали, откуда взялись, кто подослал...

Иваново-вознесенские железнодорожники по всему обширному узлу приносили немалую пользу в Октябрьские дни. Они всегда были с рабоче-солдатским советом, имели в нем своих представителей, ничего не делали поперек его воли, обо всем договаривались во-время.

Выбиваясь из сил, чинили паровозы и вагоны; справляли маршрутные поезда, гнали их за хлебом... В самую горячку восстания они перевозили в Москву наши рабочие отряды помогать москвичам... Железнодорож-

ники на своих предоктябрьских собраниях говорили то же, что ткачи, они были также готовы к действию.

В городе стоял 199-й запасный полк. В нем 11-я, 12-я, 14-я роты, а обучена из них и готова одна лишь 11-я. Ну что ж: и одна рота при случае сделает немалое дело.

В казармах сыро, холодно, грязно...

— Солдаты! Товарищи! Вам, может быть, в близком будущем придется выступать... Подлое и гнилое правительство не хочет, да и не может отдать трудовому народу все, что принадлежит ему по праву...

— Давно бы так, — крикнул кто-то из серой массы.

— Долой предателей...

От стены к стене по каменному холодному корпусу метались грозные лозунги, ухали проклятья, торжественно и гордо вырывались и застывали над серошинельной массой святые клятвы идти на бой...

— Мы надеемся на ваше оружие, товарищи, оно, может быть, скоро понадобится — отстаивать советскую власть...

— Да здравствуют советы! — провозгласил кто-то в установившейся на миг тишине.

И масса неудержимо, в каком-то исступленье закричала:

— Ура!.. Ура!.. Ура!..

— Да здравствуют советы! — еще раз крикнул тот же голос.

И новая буря криков, восторгов, пламенных клятв...

Солдаты были с нами...

Так рабочих-ткачей, железнодорожников и солдат мы готовили накануне великих дней... Им скоро пришлось сражаться, только не здесь — в Москве, куда их отправляли на помощь.

С этой ли силой не победим? Кто же совладает с нею? У нас и сомнений нет, что победа будет за нами...

Все ближе подходят сроки...

Мы нервно ждем сигнала, ждем окончательных вестей — и они пришли.

Совет рабочих и солдатских депутатов помещался в Полушинском доме, на Советской улице, — лучшего

места для тех времен не найти. Куда хотите — всюду близко: до станции рукой подать, на фабрики тоже недалеко, вот они: Бурылинская, Полушинская, Дербеневская, Гандурина, Ивана Гарелина, Компания, Зубковская — до любой по шесть минут ходу. А это важно: там черпал совет постоянную энергию, видел поддержку, там получал указания, узнавал желания — фабрики были опорными пунктами советского могущества в городе.

На пленумах совета, всегда многолюдных, шумных и оригинальных, в течение шести-, восьмичасовых заседаний, тянувшихся часто за полночь, каких-каких только не разбирали мы тогда вопросов: не хватает хлопка на фабрике, угля, железа, тесу, красок — разбираем; где-нибудь кто-нибудь «хапнул», кого-нибудь оскорбили, поколотили, выгнали, наказали самостийно — разбираем; объявился шпион, подмастерья загрубили с рабочими, где-то надумали организовать детский приют, анархисты захватили купеческий дом, крестьяне разгромили помещичью усадьбу — разбираем.

Не было вопроса, который прошел бы, минуя совет: все стекалось сюда.

25-го на 6 часов вечера назначено было заседание совета. Что за вопросы разбирались — не помню, только настроение в тот вечер было исключительное: спорили как-то особенно горячо, неистово, безо всякого соответствия значению вопросов, возбуждались быстро, реагировали на все болезненно, то и дело подавались ядовитые реплики; протестовавшие вскакивали на лавки, словно пузыри на воде: попрыгают-попрыгают и пропадут. А там другие... И можно было видеть, что все эти разбираемые вопросы — не главные, что на них только вымещают что-то кипящее внутри, вот то самое главное, о чем так хочется говорить, чего ждут не дождутся собравшиеся делегаты... Ведь сегодня 25-е. Может быть, утром... может быть, в ночь придет... А может быть, и теперь, вот в эти самые минуты, гремят там орудия, дробят пулеметы, колоннами идут рабочие, и льется, льется, льется братская кровь... Эх, скорей бы узнать! Уж разом бы узнать — все станет легче...

Три раза пытался я связываться с Москвою телефо-

ном — не выходило. Наконец дали редакцию «Известий», и оттуда сообщили незабываемой силы слова:

«Временное правительство свергнуто!»

Чуть помню себя: ворвался в зал, оборвал говоривших — встала мертвая тишина — и, четко скандируя слова, бросил в толпу делегатов:

— Товарищи, Временное правительство свергнуто!...

Через мгновение зал стонал. Жали руки, вскакивали на лавки, а иные зачем-то аплодировали, топали ногами, били палками о скамьи и стены, зычно ревели: «Товарищи!.. товарищи!.. товарищи!..» Один горячий слесарь ухватил массивный стул и с размаху едва не метнул его в толпу. Уханье, выкрики, зачатки песен — все сгрудилось в густой бессвязный гул...

Кто-то выкрикнул:

— «Интернационал»!

И вдруг из хаоса родились, окрепли и помчались звуки священного гимна... Певали свой гимн мы до этого, певали и после этого многие сотни раз, но не помню другого дня, когда его пели бы, как теперь: с такою раскрывшейся внутренней силой, с таким горячим, захлебывающимся порывом, с такою целомудренной глубокой верой в каждое слово:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов...

Мы не только пели — мы видели перед собой наяву, как поднялись, идут, колышутся рабочие рати на этот смертный, последний бой; нам уже слышны грозные воинственные клики, нам слышится суровая команда — чеканная, короткая, строгая, мы слышим, как лязгает, звенит оружие... Да, это поднялись рабочие рати.

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей...

Эти вести из Москвы — вот он и грянул великий гром! Рабочие победили. Рабочие взяли власть... Враг разбит — повержена «свора псов и палачей»...

А солнце сияет, сжигает огнем своих лучей... Да, да, все, как в песне: наш путеводный гимн, самая дорогая, заветная песня, которую пели в подполье рабы, за кото-

рую гнали, ссылали, расстреливали, вешали, истязали по тюрьмам, — может ли ошибаться эта песня, вспоенная кровью мучеников?.. Пришли наши дни — их мы ждали. Здравствуй, новая жизнь!..

Первые минуты бешеной радости прошли, но еще долго не могли улечься суетливость, нервность, торопливость. Вспомнилось, как два месяца назад, в «корниловские дни» — вот так же, как теперь, сидели мы на этих самых лавках и торопились решить: что делать?

Да, так что же делать, с чего начать? Мы ведь пока узнали лишь о том, что «Александра IV» нет, — так Керенского в шутку звали у нас солдаты. Но дальше? Идет ли сражение или окончилось, да и было ли оно вообще? Разговор по телефону оборвался в самом начале, его, быть может, оборвали сознательно, чтобы не дать нам знать про все, что совершилось. Мы еще не знали тогда о предательской, подлой роли, которую разыграли в великие дни некоторые ивановские почтово-телеграфщики, но предчувствие недоброго было уже у многих. Посыпались градом предложения — страстные, энергичные, но все больше какие-то фантастические, для дела совершенно негодные.

— Выслать немедленно в Москву на помощь наш полк, а во главу дать членов советского исполкома...

— Идти по фабрикам теперь же, сию минуту, оставив рассуждения; фабричными свистками собрать рабочих, объяснить положение, организовать на месте батальоны и слать их в Москву.

— Прекратить временно всю гражданскую работу, всем влиться в полк; одним — организаторами и политработниками, другим — стрелками...

Как это бывает всегда в подобных случаях — пока горячие головы фантазировали, другие за них думали, соображали, взвешивали обстоятельства, прикидывали разные возможности.

Было постановлено коротко:

Так как с Москвой и Питером подробности не ясны — будем их добиваться, а пока, вслепую, ничего не предпринимать. Это во-первых. Во-вторых, заняться организацией обороны у себя и помнить, что Иваново-Вознесенск, хотя и неофициально, является признанным центром огромного промышленного района, который надо обслужить, организовать, спаять, приготовить ко всем

неожиданностям серьезного момента. В-третьих — создать особый боевой орган, которому вверить на самый горячий период все дело борьбы.

Орган создали, назвали «Революционным штабом», выбрали нас пятерых, дали общую директиву:

«Держитесь крепко, смотрите зорко».

Штаб ушел для выработки срочных мер.

Советское заседание продолжалось, но, видимо, путалось, не клеилось, да и не могло в такие минуты оно продолжаться — попросту делегатам не хотелось уходить.

Через короткое время мы воротились и сообщили, что ставим сейчас же по всему городу караулы и специальную охрану в нужные места: на железнодорожную станцию, на телеграф, на телефонную станцию — всюду посылаем рабочий контроль; принимаем меры к оповещению города и окрестностей о событиях; связываемся тесно со всем районом; берем кого надо под надзор, намечаем заложников и так далее и так далее — словом, те самые меры, которые мы применяли постоянно в решающие минуты. Совет одобрил — работа закипела. Делегаты разошлись. Наутро весь город знал о происшедшем. На железной дороге создали свой специальный орган; в полку уже сам собой организовался из пяти человек Военно-революционный штаб.

Непрерывно работал телефон — это нас тревожили каждую минуту Родники, Тейково, Шуя, Вичуга, Кинешма — все крупные рабочие центры; они не давали нам покоя, точно так же, как мы Москве; что мы узнавали — сейчас же передавали дальше, — и в результате обширный район почти в одно время узнавал самые свежие новости... На телефонах буквально висели, устанавливались очереди, каждому отдельному рабочему центру назначали свои часы.

Наши рабочие восторженно встретили весть о перевороте: они собирались огромными массами по фабрикам, слушали советских депутатов, жадно ловили новости, присылали за ними своих посланцев, то и дело с песнями, с флагами кружили около совета.

Железнодорожники посылали свои делегации с клятвами дружно работать, с заявлением о готовности умереть за советскую власть.

Полк в боевом вооружении, блестя щетиною штыков, уже не раз демонстрировал перед нашими окнами...

Первые ночи не спали сплошь. Из здания совета почти не выходили: разве только на час-другой съездишь по вызову куда-нибудь на фабрику.

Многие среди бела дня, не выдержав усталости, бросались на голые просторные столы и так засыпали под общий гвалт, под визг и хлопанье дверей, телефонные звонки, хрипы автомобилей, трескотню мотоциклеток.

Здание совета представляло собой настоящий вооруженный лагерь: кругом рабочие с винтовками, на окнах пулеметы, у нас у всех торчат за поясами револьверы, многие увешаны бомбами, иные хватили лишку: протянули через плечо пулеметные ленты.

Первая ночь прошла. В три часа дня назначено заседание совета. К нам приходят сведения, что на почтетелеграфе неблагополучно: служащие собираются кучками, о чем-то сговариваются, контроль наш совершенно игнорируют, всячески его оттирают, при случае глумятся и все время провоцируют — вызывают на брань.

Уже несколько телеграмм послано в Москву помимо контроля. Ясное дело, что тут затевается что-то неладное. Но как, как дощупаться до всего? Откуда возьмем знатоков дела? Кто поможет? Провести любого из нас не составляло ни малейшего труда. Мы хорошо понимали, что контроль наш действительно лишь «постольку поскольку», что если и не будет обмана, то не по дозору, а единственно из страха «спецов» перед нашим крутым наказанием.

В двенадцать часов почтово-телеграфщики заявили совету свой протест по поводу контроля, «потребовали» его убрать, угрожая в противном случае приостановить работу. Они ссылались на беззаконность и ненужность самого мероприятия, то есть постановки контроля, указывали на грубости, которые якобы позволяли рабочие, говорили о том, что контроль осложняет всю технику дела и дальнейшую работу делает окончательно невозможной; что, наконец, у них, почтово-телеграфщиков, есть свой Центральный Комитет в Москве, и они еще не знают его точки зрения на нашу меру, и если точка зрения ихнего ЦК будет отрицательная, тогда, дескать, «во имя профессиональной дисциплины они не могут нарушить» и так далее и так далее.

Мы эту дребедень выслушали. Понимали, что за пустыми словами кроется самое явное, самое недвусмыслен-

ное дело: им не мила рабочая власть, они борются за Временное — увы! уже свергнутое — правительство... Но от репрессий мы пока решили воздержаться, предложили им выбрать представителя и прислать его на сегодняшнее заседание совета в три часа.

Представитель явился: какой-то фертик в воротничках и манжетах, с высокомерным, надменным лицом... Впечатление производил отвратительное. Держался нагло, почти смело — будто за спиной у себя чувствовал непреоборимую силу. Надо сказать, что вокруг почтово-телеграфщиков уже стала группироваться беленькая, серенькая и даже совершенно черная интеллигентская обывательская масса.

Представителя фактами прижали к стене и заставили сознаться, что никаких оскорблений от рабочих контролеров в сущности не было, что технику дела контроль не убивает и так далее.

— В чем же дело? — задаем ему вопрос.

Минутку помялся, а потом заявил:

— Мы, организованные демократы почты и телеграфа, прежде всего являемся людьми совершенно беспартийными и к политике никакого отношения не имеем... Свою работу как вели, так и будем вести. Нам все равно, чьи отправлять телеграммы: ваши или фабрикантовы. Это мы и будем делать... Контроль требуем снять немедленно, а когда явится надобность в совете — мы сами сюда пришлем извещение. Мы также думаем, между прочим, что власть должна быть выбрана всем народом, а захватов никаких поощрять не станем. Поэтому выбранное всем народом Временное правительство признаем как единственное законное и станем помогать...

Молодцу не дали договорить — поднялся невообразимый шум. Рабочие вознегодовали, услышав в своей среде вызывающие речи этого господина. Когда волнение поулеглось, представителя отпустили во-свояси, только наказали ему снестись со своим московским ЦК и назавтра, к заседанию совета, представить результаты переговоров.

Но каково же было удивление, когда наутро — это было 27-го — почта и телеграф объявили забастовку и прекратили работу. Что было делать? Мы оказались изолированными. Железнодорожники обещали пару-другую

телеграфистов и телефонистов, но что же с ними одними поделаешь?

Сейчас же созвали к совету рабочих, набрали группу хоть кое-что понимающих, послали их на место забастовавших.

В эту ночь и весь следующий день с телеграфом и телефоном намаялись мы немало.

Помню до сих пор, как трудно достался мне один № 88 телефона, как отчаянно пошла кругом голова от всей этой работы. Сгоряча, видя, как трудно работать с «чужими», мы решили создать из ткачей свою армию телеграфистов, телефонистов, почтовиков и открыть для этого в ближайшие дни специальные курсы.

Но дело обернулось по-другому — никаких курсов создавать не понадобилось.

На следующий день, 28-го, всю эту забастовавшую ораву (их было человек двести) мы арестовали и проводили в столовую Куваевской фабрики: помещение холодное, неприветливое, угрюмое.

Сначала арестованные геройствовали, держались с большим гонором, на что-то надеялись, чего-то ждали. Но чем дальше, тем быстрее падало их настроение.

Было уже, помню, около десяти вечера. В совете шло заседание.

Решено было избрать теперь же человек двадцать из присутствующих, разработать специальные вопросы арестованным и ночью же отправиться в столовую для допроса. Уже готов был вопросник, его перед самым отправлением передумали, и нам, четверым, поручено было отправиться на «политическую разведку».

Разведка удалась — она превратилась даже в настоящее сражение, и это сражение окончилось нашей победой...

— Кто такие почтово-телеграфщики? — спросили мы себя. — Представляют ли они единую массу, с едиными интересами?

— Конечно, нет.

— Все ли они враги наши?

— Нет.

— Так нельзя ли их раздробить по сему случаю?

— Ясно, что можно.

И мы принялись дробить.

Обращаясь главным образом к почтальонам, при-

слуге, мелким чиновникам, мы указали, разъяснили им, где чьи интересы, и рекомендовали отколоться от «высоких» чиновников, высказав нам свободно и совершенно безбоязненно свое мнение.

Результаты были чудесные: после двухчасовой перепалки, споров, беседы, протестов, ультиматумов мы добились того, что заключенные «генералы» остались в жалком меньшинстве, а вся масса порешила бросить забастовку, завтра же утром встать на работу, оставляя наш контроль и присоединяя к нему свой, для избежания технических осложнений. Отлично — мы согласились.

Политический вопросник остался неиспользованным. Арестованных выпустили. Перед тем как разойтись после примирения, спели даже «Интернационал».

Весь «инцидент» на этом и закончился.

Дни были нервные, нервничали и мы: даже свой боевой орган, штаб революционных организаций, не распускали целых две недели...

Как оглянешься назад, — дух захватывает от величественного пути, который открыли незабываемые Октябрьские дни.

1925



В ВОСЕМНАДЦАТОМ ГОДУ

I. Город

Кубань. Краснодар. Рабочий квартал Дубинка. Серые гнилые заборы, хилые сплюснутые избушки, узкие улицы, переулки затянуты в частую тонкую сеть весенних туманов. В пустом скучающем небе — тошное, тихо-вялое ожидание солнечных дней. Тихо, пусто в улицах. Тихо, пусто в переулках. Жалостным блеском сквозь мутные стекла умирают ночники. От ночников на стеклах — сутулые, вялые, недоспанные тени. Чуть мережит раннее утро — первый тихий шаг долгого дня. Закачалась на колодец с коромыслом на плечах столетняя старуха. Вышел рабочий за ворота, курит сочно и медленно дымную цыгарку махры. Пыхнули над крышами белые дымки: хозяйки становились у печей. Пробуждалась Дубинка к трудовому дню.

На заборе торчит коряво-мокрая, насвежо приклеенная листовка:

Товарищи!

Вас уверяют, будто Красная Армия терпит кругом пораженья; будто советской власти нет ни на Дону, ни на Украине, что скоро падет она и в Москве. Вас уверяют, что кубанцы против большевиков, против Красной Армии, против советской власти.

Кто кубанцы? Ясное дело, что тузы наши, казаки-толстосумы, заводчики, попы, жандармы, — ясное дело, что все они против власти рабочих и крестьян, против советской власти. Они знают хорошо, что советская власть отымет у них награбленное добро, передаст его в руки самим трудящимся, как это сделала она у

себя в Центральной России. Потому и не хотят они советской власти, потому и боятся большевиков, потому дрожат перед грозными полками Красной Армии, что идут сюда от Ростова.

Да, товарищи, от Ростова на выручку в помощь к нам идут красные полки! Они уж близко. Скоро будут здесь. Они несут на штыках своих освобождение трудовой Кубани, смерть подлецам и насильникам, укрывшимся теперь за спину Кубанской рады.

Будем готовы к бою! Хватайтесь за оружие, товарищи! Точите ножи на палачей. По первому зову подымемся всей трудовой Кубанью в помощь красным полкам. Близок час расплаты с врагом! Близок час освобожденья родного края! Да здравствует Красная Армия! Да здравствует советская власть!!!»

Кучки рабочих толклись у заборов, читали.

— Эге, брат, от Тимошевки видно будет, через Минскую — вот она где главная-то сила идет...

— Почем знать, може, и не тут...

— А где ин? Тутта она и есть...

Говоривший наклонился, прошептал скороговоркой в приподнятый глухой ворот:

— В Тимошевке одне отряды... Сила по ветке идет, на Энем, с Новороссийска...

— Где с Новороссийска — что льешь?

— Морем свезли, говорят...

— Вот те и морем: солон больно.

— Товарищи рассказывали вчера с Тихорецкой, будто тридцать девятая дивизия вся с красными идет...

— О... о... Дивизия?

— Вся дивизия: пулеметы, артиллерия — честь честью, все как надо... А солдаты зараз: долой, говорят, офицеров — сволочь такая! Все за советскую власть постоим! И как есть везде советы солдатские по полкам наладили: сами, говорят, всю дивизию в бой поведем, не надо никаких нам поставленных офицеров...

— А чего глядеть: давно б надо... недаром, чай, тут прописано.

Все обернулись к листовке и стали было читать, как вдруг где-то поблизости раздался резкий сигнальный, пронзительный свист. Рабочие кинулись врассыпную, мчались опрометью прочь, перескакивали смаху через низкие заборы, кидались в переулки, скрывались в притворенные ближние калитки чужих дворов...

В ту же минуту вырвался из-за угла казачий разъезд — он слепо скакал как раз на то место, где только что стояла толпа рабочих. Улица сразу стихла, будто вымерла. Только топот конских копыт да казацкая резкая

брань словно плетью секли тишину. Два всадника круто повернули у забора, соскочили с коней и сорвали листовку. Где-то поблизости взвизгнул неистово дикий голос, взвизгнул и смолк. Через дорогу побежала растрепанная бледная женщина — прямо на нее скакал кудластый рыжий казак и, как только настиг, ахнул с размаху тугой плетью по спине. Мгновенье — животный вскрик, и, испуганная насмерть, скрылась она в воротах, а кудластый всадник промчался мимо.

Взад и вперед метались по улицам, переулкам казаки, соскакивали и срывали ночные листовки, запихивали их наскоро за пазухи, летели дальше.

Так на Дубинке читались прокламации.

Главная улица Краснодара — Красная. По Красной все учреждения. На Красной живет вся знать. С Дубинки, Покровки, с окраин не любят заглядывать сюда рабочие: что им делать на Красной? И не понять, для кого развешены эти приказы, расклеены на стенах «по-большевицки» газеты? Кого они уговаривают?

«Последние известия! Последние известия!

РЕШИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА НАД БОЛЬШЕВИКАМИ!

На путях к Ростову красные банды, объединенные в дивизию, вздумали напасть на славные Н и Н и Н полки Добровольческой армии — на те самые полки, что известны по всей Кубани своим героизмом, непоколебимой стойкостью. К нашим полкам присоединилось двенадцать добровольческих отрядов, в которые за одну ночь ушло почти поголовно все население ближних станиц... Красные банды были окружены и напрасно пытались спастись из железного кольца — были все уничтожены до последнего человека, прорвалась к своим лишь незначительная горстка. Захвачено в плен немного — большинство побито во время боя. Огромные военные трофеи пошли на укомплектование наших частей... Изо всех концов, где только побывала Красная Армия, несется горький вопль, плач населения: там везде наставили большевики виселиц и терзают беспощадно и расстреливают ни за что мирное население, причем мужчин загоняют силою в свои шайки, а девушек и женщин берут общественными женами, то есть такими женами, которые сразу принадлежат всей шайке. Это у них называется коммуна. Вот чего хотят большевики!

Свободные кубанцы, честные граждане! Задумайтесь над всем этим и помните, что за собою приносит всюду большевицкая Красная Армия!

Кубанская рада, ваш верный страж и защитник, ваш правительственный орган, который избрали вы так единодушно, рада снова и снова призывает вас, верные сыны Кубани, хранить спокойствие в эти трудные дни, сомкнуться вокруг своего правитель-

ства, не поддаваться панике и подлым слухам, которые сеют повсюду наши тайные враги. Четверо таковых вчера были пойманы и ночью же расстреляны.

Граждане кубанцы! Все, кто искренне и честно любит свою страну, свое многострадальное отечество, — все вы будьте в эти ответственные дни на поддержке правительству, боритесь все с темными, вражескими элементами, хватайте всех, сеющих среди вас мятежные слухи, и передавайте их в руки властей!

Да здравствует Добровольческая армия!

Да здравствует Кубанская рада!»

И статьи, и приказы, и речи громовые кубанских властителей — все построено было в этом духе. Начиналось победами, а кончалось мольбами и страхами. Читали и недоумевали даже самые вислоухие, туголобые:

— Как это так, — кругом одни наши победы, успехи, а тут вдруг: «Кубань в опасности», «берегитесь», «будьте на страже»?

— Э... э... тут что-то не так, писать-то, знать, пишут нам, да не всё!

По городу бродили, и скакали, и ползли слухи — туманные, путаные, противоречивые: один цеплялся за другой, один за другого прятался, выглядывал из-за него лукаво, а потом ловко и вдруг, вовсе внезапно, кувыркал через себя, взвизгивая, несся дальше, пока не кувыркнет его в свою очередь новый, такой же вздорный, торопливый слух. Так, наскакивая, переплетаясь, прячась, один другому противореча, метались по городу, усакивали по станицам, по всей Кубани вздорные слухи.

Город нервничал. Тщетно старался он быть и казаться спокойным: нервная дрожь выдавала глубокую внутреннюю тревогу. Он запутался в своих собственных тенетах. Он изолгался, как мелкий последний лгунишка. Ждал откуда-то помощи и не знал: будет ли она и откуда? Метался в лихорадке и верил — не верил, что придет избавленье...

События надвигались грозно, неумолимо. Напрягалась Кубань в ожидании решающих дней. Вот он — уж слышен чуткому слуху тяжелый топот красных батальонов!

С севера, через свободный Дон, по станицам, от моря, по веткам железной дороги, со всех концов идут, сжимают, близятся они, эти сонмища неведомых людей, распаляя всюду костры восстания, подымая за собою новые, все новые и новые толпы людские... Это идет к Кубани

новая жизнь — она раздавит железною пятой вот этот самый оробевший, перепуганный, лихорадочный мирок. Она верной рукой возведет свои леса и будет строить на них иное, доселе не виданное.

Сердце кубанское — Краснодар — острая тревога колотила в лихорадке.

На Штабной, недалеко от центра города, жила семья Кудрявцевых — мелкая чиновничья семья. Старик отец лет пятнадцать назад приехал сюда откуда-то из глуши Тамбовской губернии, приехал сначала один в поисках «удовлетворительных мест», как он выражался, а потом, устроившись, перетащил свою семью: Анну Евлампьевну свою «старуху», Павлушу и Надю — двоих ребятишек, тогда еще совсем малышей: Наде было четыре, Павлуше — девять лет. Теперь Надя училась в последнем классе гимназии, выросла выше отца — худая, тонкая, русоголовая, с серыми умными глазами, тихой речью. Павел же, питерский студент, двадцатитрехлетний «дядя», был тучен, обрюзг не по годам, полысел, прочернел, развинтился вконец. Учение впрок ему не шло. В Питере он шатался больше по пивнушкам и бильярдным, пропивал и проигрывал все, что зарабатывал случайными уроками или получал от отца... Знакомые о нем обычно отзывались одним только словом «никудышный». Так его и звали никудышным, серьезно с ним нигде не считались, уважать не уважали, но и зла против него не имели. Павел был, что называется, «мешок с соломой»: прост, незлобив, добродушен и глуповат не по возрасту.

Сам старик, Петр Ильич, вот уже десять лет как сидит в канцелярии женской гимназии — целый день в густом табачном дыму, в грохоте и звоне молодых девичьих голосов. Сидит, как сыч, угрюмо и насупленно, за своим широким клеенчатым столом, обложенный ворохами книг и бумаг, дает разные справки, записывает разные дела, помаленьку и втихомолку, склоняя лысину и глядя поверх очков, сплетничает с соседями-сослуживцами... А приходя домой, снимает черный со светлыми пуговицами служебный сюртук, облекается в какой-то неопределенного цвета лапсердак, разваливается с газетой в кресле и через каждые три минуты приговаривает, разводя руками:

— Это невозможно, это невозможно!..

— Чего там? — спросит недоуменно Анна Евлампьевна.

— Да что, — махнет рукой старик, — говорил я, что прах один...

И начинает он своей старухе пояснять что-то совершенно отвлеченное, чего та и не понимает, да и не слушает, уходя от разговоров то и дело на кухню... Воротится, а он опять, пока не придет кто-нибудь из знакомых, не оборвет философствующего старика. И уже через пару минут, после обычных приветствий и вопросов, Петр Ильич кидается на нового, трижды несчастного собеседника, удушая нескончаемыми разговорами. Мысли у него путаные, неясные, говорит он о чем угодно и по каждому вопросу с одинаковым апломбом... Схватывались прежде с ним поспорить по детскому неведенью и любопытству и Надя с Павлом, но вот уже два—три года как пропал для них аромат отцовских философствований, и, не видя больше в них никакого толку, они обычно отмалчиваются, занимаясь чем угодно, только не «деловою» с ним беседой. Впрочем, это нисколько не мешает им уважать, по-своему даже любить старика и обращаться с ним просто, по-приятельски.

В семье Кудрявцевых была та простецкая, хорошая атмосфера, где не чувствуется ни малейшего гнета, никакого проявления родительского режима, где каждый приходящий через десять минут начинает себя чувствовать «своим» и уходит отсюда полный какой-то умиротворенности, спокойствия; даже трудно было бы объяснить, отчего это так выходило. Сам старик в конце концов был надоедлив и тошен своими разговорами, расспросами, рассказами, пояснениями, вообще своей назойливостью. Правда, с ним и не очень-то церемонились, со второй же беседы приучались не отвечать ему по крайней мере на три четверти вопросов, и это его, видимо, нисколько не обижало — старик обращался к Анне Евлампьевне, а та уж всегда умела свести с ним счеты...

Анна Евлампьевна была добродушнейшая, невиннейшая женщина, вся жизнь которой сосредоточивалась в любви и заботах о детях, в хлопотах по хозяйству... Она только по долгу да по привычке состязалась в разговорах с Петром Ильичом, а по существу ничего не

понимала в его разглагольствованиях о раде, о советской власти, большевиках, гражданской войне... Петр Ильич при ней говорил все равно что в воздух и потому особенно любил говорить именно с ней, тут уж не встретишь никаких протестов, никаких возражений, тут все, что ни скажи, ладно и хорошо...

Павел Петрович в доме как бы вовсе не чувствовался: разговаривал мало и вяло, сосал неотрывно папироску, что-нибудь перебирал и перекладывал с места на место, много и часто ел, пил, иногда читал, но мало; основательно и охотно засыпал, по преимуществу одетый, уткнувшись на диванчике...

Душой семьи была, несомненно, Надя. Не по годам серьезная и умная, она очень много читала, всем интересовалась, очень чутко относилась и к событиям общественной жизни, но как раз именно в этой области ей многое не давалось, было вовсе непонятно, и этого непонятного никто не мог объяснить. Она, например, не могла понять того, как и отчего существуют столь непримиримые отношения между коренными казаками-кубанцами и большинством приезжего населения; отчего теперь по отделам то атаманы заправляют, то советы, и отчего именно приезжие, «иногородние», больше льнут к советам, а казаки от них отшатываются, восстают, борются против них? Даже у себя в гимназии она замечала между подругами какую-то разноголосицу и в отношениях начальства гимназического чувствовала эту самую неодинаковость внимания к тем и другим. Пыталась она говорить и с отцом и с Павлом, но толку никакого не вышло: отец понес ахинею, а Павел отмалчивался, пробормотал что-то невнятное и от разговора уклонился. Так, в неведении, горя охотой все понять и все узнать, не находила Надя верного, желанного пути, не встречала желанного человека, не знала, как и что ответить себе на возникавшие, тревожившие ее вопросы.

II. На Дубинке

На Дубинке, в доме Гущина, вот уже четыре года живет рабочий с завода «Кубаноль», Степан Петрович Караев. У Караева семьи нет — пятый год пошел, как схоронил он чахоточную жену, — и с тех пор один, бо-

быль бобылем. Занимает он крошечную комнатку во флигеле, кроме завода, нигде не бывает, а по вечерам до поздней ночи в тусклом его окошечке светит лампа: Степан Петрович большой охотник до книг. Его на заводе недаром прозвали «учителем»: справку ли надо какую получить, объяснить ли что, узнать — всегда обращаются к нему. И на все вопросы отвечает этот удивительный грамотей-«учитель». К нему товарищи относятся с уважением, хоть и непрочь иной раз подтрунить над книжной караевской ученостью:

— А скажи ты, учитель, почему это у человека пять пальцев на руке, а не восемь, — ладнее, кажись, было б работать-то?

— Значит, не ладнее, коли пять, — отвечал Караев серьезно, будто и не поняв вовсе шутки.

— Ну, а все-таки, как же это по книге у тебя там выходит?

— По книге никак не выходит... А вот болтаешь ты, Карась, и сам не ведаешь, чего болтаешь, — урезонит Караев. — Как удобнее, так оно и складывается, а что неудобно в жизни, то навсегда пропадет... Может, и было когда восемь, да не к делу оказались — и осталось тебе, сердешному, только пять... А что те больше хочется — хватит и этих на чужое-то рыло работать...

И Степан Петрович всегда от шутки так повернет разговор, что у собеседника враз отпадет охота шутить, а вместо шуток складываются невольно какие-то другие речи, родятся какие-то другие мысли, которые и близки и понятны, про которые надо и думать и говорить, говорить...

Угреватое желтое лицо Караева на первый взгляд кажется сухим и неприветливым, но это только на первый взгляд. А разговорись с ним, и добрые карие глаза засветятся внутренней теплой ласкою, и слова его, такие простые и всегда нужные, завлекут тебя, затянут, заставят слушать, отвечать, спрашивать...

Сегодня Караев весь день как-то особенно серьезен и молчалив: на работу пришел позже обычного, ушел тоже раньше всех — это с ним случается редко. В комнатке у него прибрано, вещи уложены, словно ехать куда собирается, и все ходит он, ходит — перекладывает их с места на место. Рядом с комнатой, где он живет, находится небольшой чулан, и там все прибрано, а на стене

подвешена жестяная маленькая лампочка. Взялся за книгу, почитал немного, мысли не те, — оставил. Отбросив верхнюю занавеску, вытянул с печки небольшой медный самоварчик, начал возиться с углями. Потом сидел за чаем и тихо, медленно высасывал стакан за стаканом... Выходил в сени, выходил и на двор, за ворота. Снова усаживался к столу и все ждал, ждал чего-то напряженно...

Спустились сумерки, в комнате стало совсем темно, но огня Караев не зажигал. Где-то поблизости в железную крышу дома вдруг ударились один за другим два брошенных камня. Караев встал и вышел за калитку — там с противоположной стороны быстро перескочили к нему две тени:

— Спокойно?

— Спокойно все... Налево... Не ткнитесь — приступки тут. А где же ящик, у Климова?

— Да, — ответил кто-то второпях, — не закрывай, они вслед за нами.

Через минуту от палисадника отделились еще две фигуры, в руках у них чернело что-то массивное. Караев быстро выскользнул им навстречу, подхватил ящик спереди, и так, втроем, втащили его через калитку прямо в чулан. Зажгли лампочку, прикрыли ее тряпкой, начали распаковывать. Остальные прошли в комнату, осмотрелись, пощупали стены, тихонько постучали здесь и там, заглядывали во двор, приподнимая занавеску: темная темь, ничего не видать!

Это на новую конспиративную квартиру пожаловали к Караеву подпольщики-большевики. Притащили с собой шрифт, краску, станок, бумагу — сегодня надо было готовить воззвание. Двое, что прошли в комнату, видимо, очень торопились, три раза приходили в чулан, понукали товарищей заканчивать:

— Потом разберется... Успеете... Ну, айда, айда, поживее.

Вошли. Сняли шапки и широкополые шляпы; один высокий, стройный, черноволосый, с черной курчавой бородой, вдруг сдернул парик и оказался совсем молодым человеком лет двадцати, двадцати двух. Это — Виктор Климов. В черных серьезных глазах еще дрожали быстрые огоньки беспокойства. Матовое лицо передергивалось нервной рябью. Другой, среднего роста, Степан Па-

щук, отклеил рыжие тараканьи усики и с улыбкой положил их перед собой на столе. Степану было лет тридцать: плотный, коренастый, с высокой грудью, с быстрыми черными огнистыми глазами; движенья порывисты и нервны, голос глухой, надорванный.

И Климов и Пащук тотчас разделись, побросав на пол шапки и обтрепанные пальтишки. Те двое, что вошли первыми, сидели за столом не раздеваясь, шляп не сняли — видно, торопились уходить. Одному можно было дать лет двадцать пять — тонкоусому, с небольшой русой бородкой; другому — лет сорок; этот не наклеил ни усов, ни бороды, только низко опустил на морщинистое лицо широкополую старую шляпу — Кирилл Паценко, урожденный кубанский казак, недели три назад приехавший из Акатуя, где пробыл без малого четыре года. Сосед его, тоже из ссыльных, Тарас Бондарчук, последнее время почти безвыездно работал в Армавире и только накануне приехал в Краснодар.

— Ну, вот что, ребята, — сказал Паценко. И голос его прозвучал серьезно и внушительно. Видно было, что он здесь главный. — Мы наскоро обсудим теперь же, а вы обработаете сами... Лиза говорила, что из штаба получены какие-то новые сведения, и мы с Тарасом сейчас уйдем.

— Кто дал? — спросил Климов.

— Опять Владимир...

— Ловко приладился, молодчага, — уронил одобрительно Пащук.

«Владимир» — это была кличка одного из товарищей, устроившегося писарем в штабе генерала Покровского и передававшего изо дня в день в подпольную организацию все необходимые материалы.

— Так вот, — продолжал Паценко, опустив голову и не глядя ни на кого, — мы с Тарасом пойдем... Приехали там еще из Новороссийска — ждут... Надо все разузнать и сообщить им свои новости... Лиза говорила — какие-то перемены...

— Где? — спросил Бондарчук.

— В раде... Она будто раскалывается: одни уходят, другие хотят бороться до последнего в городе и города не сдавать...

— А Покровский? — спросил снова Бондарчук.

— Первым, сволочь, убежит, — вставил Климов и улыбнулся, широко обнажая здоровенные кряжистые зубы.

— Убежит-то убежит, — вслух рассуждал Бондарчук, — а вон что вытворяет — насчет Казанки все верно: четыре виселицы... и двенадцать человек в овраге.

— Вот это и надо вклеить, — ткнул пальцем в стол Паценко и взглянул на Климова, как будто указывая ему место, куда именно следует что-то «вклеить». — Даже на этом и построим, как думаешь? — обернулся он к Пащуку.

— Чего ж, отлично, — соглашался тот, похлопывая тихо себя по коленям. — Только я думаю, что два разных придется писать: одно про раду, другое про Казанку...

— Да где уж, не успеем,—запротестовал было Тарас.

— Молчи, Тарас, молчи, — перебил его Пащук, — раз говорю, значит, сделаем... с Климом... Вдвоем, да не сделать, — на что мы и годны после этого?

— А ну-ка, давайте скорей, — быстрым шепотком торопил Паценко. Ему не терпелось, сообщение Лизы не давало покоя.

Караев молча сидел на самом конце лавки и в разговор не вступал, только переводил с одного лица на другое темные грустные глаза.

— Степан, ты, значит, с собой захватишь половину? — обратился к нему Паценко и мотнул головой в сторону Клима.

— Возьму...

— Да не всыпься, дядя...

— А всыплюсь, отрыть можно, — отшутился тот без улыбки на спокойном лице.

— То-то, отроют... Не всегда, брат, удается... Так вот что, — обернулся он снова к Пащуку, — не лучше ли будет, чтоб ты пока один тут кой-чего набросал, а мы поговорим о другом, понимаешь? Мысли только главные... а все остальное вы там вдвоем с Климовым...

— Идет.

И Пащук достал бумагу, перед собой положил карандаш, отодвинулся на другой угол стола, потер ладонью морщинистый лоб и так, с поднятой головой, закрыв глаза, сидел с минуту. Потом схватил карандаш и

быстро-быстро стал записывать. Тем временем Паценко, Климов и Тарас, наклонившись друг к другу, разговаривали тихо, чтобы не мешать Пащуку.

— Ты, Степан Петрович, тоже придвигайся, — обратился к Караеву Паценко.

Тот молча сел рядом на полу, вывернул колена и, широко охватив их руками, застыл без движения.

— Мне кажется, надо будет ехать в Новороссийск, — сообщил товарищам Паценко. — Они там что-то надумали... надо быть, на этих же днях и подымутся... Все полотном не пойдут — часть ударит к Тимошевке, а другая здесь, от Крымской...

— Он, сукин сын, почуял, видно, что дело неладно,— мотнул рукой Бондарчук, и было понятно, что речь идет о Покровском.

— А что?

— Да очень уж газеты жалобны стали: «Братья казаки... дорогие защитники свободы»... Соловьем разливается, подлец, а нет-нет, да и сболтнет: Кубань-де в опасности, гроза, мол, не миновала...

— И по заборам тоже, — добавил Климов. — Вчера одного из буковских, рабочего, на Сенном избили...

— На Сенном?..

— Заметили, с забора сдирал листовку какую-то, а тут из окна капитан увидал, выскочил в одной рубашке, подтяжками трясет, орет, бежит на него... Ну, солдаты баню дали, говорят, здоровую...

— Сдирают ловко, — добавил Бондарчук.

— А то нет? К вечеру везде облупят... Я гляжу, наши-то, — сказал Климов, — едва ли дольше висят?

— А вы, ребята, вот что, — перебил Паценко. — В центр лезть не стоит, чего тут... Дело делом, а зарываться все-таки не годится, да и толку, по-моему, тут нет никакого... Кому развешивать? Надо все-таки знать, что сила наша по краям, — вот уж тут клей где попало, а в центре — в центре совсем даже советую бросить...

— У Буковского сколько работают?

— То есть по заборам? — спросил Климов.

— Да...

— Расклеивают четверо, а раздают по рукам, я уж, право, и не помню... во всяком случае, там хорошо...

— У Саламака?

— Там Пархоменко, а кто у него... Да кто у него, ты не знаешь, Степан Петрович? — обратился Климов к неподвижно сидевшему Караеву.

Тот вскинул глазами, помолчал и чуть слышно ответил:

— Шестеро...

— А у тебя?

— У меня тоже шестеро, кроме самого... я мальчишек еще двоих приладил.

— Мальчишек хорошо, только осторожней надо, — серьезно сказал Паценко. — Я как раз и насчет этого хотел сказать. У нас тут с молодежью с учащейся нет ничего — никак не связаны, а надо бы связаться, да теперь же... Если работы не будет, через них хоть узнавать что-нибудь...

— Э, брось ты, Паценко, — запротестовал Бондарчук, — до того ли? Ну, на кой они черт, эти казацкие дочки, какой тут толк? По-моему, и сил отрывать не стоит, одна чепуха...

— Пожалуй... — промычал согласно и Климов.

— А я думаю, наоборот, — нисколько не меняя тона, продолжал Паценко. — Как можно этаким образом рассуждать?.. Мало ли что мы думаем? А ну как и на этот раз неудача, да как останется тут все, ну хоть полгода, что ли... Значит, опять не трогать? Нет, нет, нет, ребята... Я не согласен. По-моему, сейчас же... Что будет, то будет, а предвидеть всегда надо худшее...

— Чепуха, — горячо перебил Бондарчук. — Не надо... Совсем чепуха... Ты гляди, — обратился он к Климову, почувствовав в нем единомышленника. — Надо ведь дать кого-нибудь дельного, не так ли?

— Ясно, — подкрепил Паценко.

— Ну, вот тебе и ясно... Надо дельного, потому что все-таки ученая вся тут компания... И язык надо круглый, и с головой, а где они, ученые-то, кого ты дашь?

— Да что ты, братец, гремишь впустую, — тихо успокаивал Паценко, — а ты не кипятись, какого черта?.. Потом мы же ничего еще и не решили, только говорим... А я думаю, надо будет и его потревожить, — указал он пальцем на Пащука. — Эй, Сократ Пантелеич, заканчивай... Голос нужен.

Пащук приподнял от бумаги голову и посмотрел совершенно рассеянно — он ничего не слыхал из того,

о чем спорили товарищи; он мастерски умел приспособляться к работе в любой обстановке и мог под шум, под крики составлять самые дельные статьи и заметки, будто все мысли и даже фразы были у него давно готовы и теперь он их только механически заносил на бумагу.

— Ты скоро ли кончишь?

— Кончаю вторую... А что я?..

— Да нужен бы к разговору.

— Ну, кончай, кончай, только поскорее... кстати, нам и идти пора бы, — взглянул он на часы и почесал затылок под шляпой, поддав ее еще ниже на нос.

Через две минуты Пащук окончил работу.

— Курнуть бы, а? — обратился он неопределенно, не глядя ни на кого.

Степан Петрович достал кисет. Стал вертеть из газетных обрывков здоровенные, толстые цыгарки.

— Я вот что, Пащук, — обратился к нему Паценко,— я говорю — с молодежью тут пора бы побудоражить, потому что...

— А кто ж не говорит? — прервал его Пащук.

Он иногда выражался странно, и это было всегда в те минуты, когда голова все еще полна была неотлетевшими мыслями, а слова выскакивали сами собою.

— Да ты понимаешь ли, что я говорю? — улыбнулся Паценко.

— Ну да, насчет молодежи...

И Паценко рассказал ему коротко, в чем дело. Пащук горячо встал на его сторону. Климов сначала колебался, а потом согласился и сам.

— Во всяком случае хуже не будет, — решил он вслух.

Один Бондарчук упорно стоял на своем и отрицал в этой работе всякий смысл, твердя все об одном:

— Сил и так нет, а вы и ее губить хотите, останную силу.

— Лучше всего, Климов, знаешь ли, тебе бы взяться самому, — сказал Паценко.

— А как же?.. — посмотрел на него вопросительно Климов и мотнул головой в сторону чуланчика, намекая на то, как же, дескать, типография.

— А Пащук с ней... И Лизу можно... Она уж малость работала... Обвыкнет... Ты как сам-то?

— Я что, я ничего... Только слажу ли?..

— Сладишь, Витя, сладишь, в тебе ладу много, — похлопал его по плечу Пащук и густо пахнул махорочной струей.

Решили Виктора отрядить на работу с молодежью.

— Читать, что ли? — развернул Пащук исписанные бумажки. — Тут в самых что ни на есть кратких словах...

— Вали, — согласился Паценко.

Бондарчук сидел угрюмый и насупленный. Ореховозуевский ткач, сын ткача, потомственный пролетарий, он с большим недоверием смотрел на всякие затеи в нерабочей среде, ни на грош не верил интеллигентам и уважал из них только немногих, которые все время были с ними вместе, которых изо дня в день он мог проверять на непосредственной работе. Поэтому не верил он и теперь, что с «девчонками» выйдет какой-нибудь толк.

— Придется, Виктор, во все тяжкие пускаться, — продолжал Пащук, — и вальсом кружить, и слова ласковые...

Климов молчал, улыбался, забористо тянул цыгарку.

— Пащук, Пащук, к делу, — торопил его Паценко.

— Только покороче, знаешь ли, одну середку...

— Идет...

И пункт за пунктом передал Пащук содержание двух предполагавшихся листовок. В одной клеймилась предательская, фальшивая деятельность рады, указывалось, как она, прикрываясь красивыми лозунгами, идет покорно на поводу у монархиста Покровского и выполняет, по существу, самое черное, грязное дело... Говорилось о том, что представители станичников в раде околпачены, что наиболее сознательные из них уже поняли это и из рады бегут, что красные войска подступают к самому Краснодару и надо помочь им освободить Кубань от генеральского гнета, но не с радой, а против рады, потому что... и т. д. и т. д.

В другой листовке красочными, сочными мазками набросал Пащук картину издевательств и зверств, учиняемых офицерьем по запуганным, немым станицам... И как пример приводил недавний расстрел в Казанке и поставленные там четыре виселицы.

«Кубанцы! Трудовые казаки! Рабочие и крестьяне! Поймите этот кровавый ужас, поймите, к чему приведет вас эта расправа царского генерала», — заканчивал Пащук вторую листовку и звал на восстание, звал объединиться с наступающими красными войсками, быть им подмогой.

Поговорили недолго. Обработать листовки поручили ему вместе с Климовым. Пацеико с Тарасом скоро ушли. Степан Петрович проводил их до калитки, отодвинул бесшумно засов, вышел первый, осмотрелся вокруг и, когда уверился, что нет никого, пропустил их мимо себя, пожимая руки.

Добрый час Пащук с Виктором писали и переписывали, а когда закончили — возились в чулане при свете тусклой лампочки, чуть разбирая мелкие свинцовые куколки шрифта, перекладывая их с пальца на палец, бережно и плотно приставляя друг к другу, словно лепили холодные и гладкие соты... Когда набран был весь текст, уложили заверстанные полосы на ящик, плотно сомкнули, накатали накрашенным валиком, притиснули первый лист... Тиснули второй, третий... Разделили полосы пополам — проверяли, отмечая на полях, потом снова брали крошечные буковки, одни вытаскивали, другие вставляли и, когда весь текст был начисто проверен и исправлен, поочередно начали тискать листок за листком... Степан Петрович тем временем сготовил самовар, наломал большими кусками хлеб в тарелку, пришел за ребятами в чуланчик:

— Идите-ка заправиться... Ишь, носы раскрасили...

— А ты, Степан Петрович, сменой будешь. Ну же, подходи, — командовал ему Пащук. — Вот так, теперь намажешь... Кладешь, ну, нажимай... — И он обучал Караева новому ремеслу.

Уж давно прокричали петухи...

Бледнело глубокое темносинее небо, откуда-то издалека глухо гудел гудок. Просыпались утренние шорохи и вздохи... Комната посерела... В тонкие щели чуланчика заползали рассветные бледные полосы...

А они втроем все крутились около станка. Тут же жевали хлеб, прихлебывали из стаканов остывающий чай.

Наутро листовки были готовы...

III. Бал

Сегодня у Нади много хлопот. Она весь день занята приготовлениями к концерту. Концерт устраивается в пользу раненых солдат добровольческой армии. Начальница той гимназии, где должен состояться концерт-бал, отобрала группу учениц и поручила им все заботы, а сама то и дело ездила в штаб, тоже хлопотала, сносилась с разными высокими чинами — жаждала блеснуть, отличиться, показать себя во всей красе великодушного порыва.

В число избранниц попала и Надя. Она с большой охотой взялась за порученное дело и последнее время занята была до позднего вечера: собирала, раскладывала, размеривала, тоже металась по разным учреждениям, приглашала артистов, устраивалась с музыкантами, раздобывала разное добро, вместе с подругами перевозила его в отведенный для этого класс и была всецело поглощена своим новым живым, интересным делом. Ей впервые приходилось исполнять нечто такое, где она перестала чувствовать себя ученицей, где не было обычной суеты над книгами, забот об уроках, ответах, удачах и неудачах, где она чувствовала себя и более взрослой, и более серьезной, и, казалось ей, по-настоящему нужной и полезной!

Анна Евлампьевна только руками разводила:

— И что это ты, Надюшка, есть совсем перестала, день-деньской шатаешься?

— Ах, мама, ты не представляешь, — щебетала весело Надя, — ты не знаешь, какие будут силы... Всех из театра забрали — самых лучших... Два оркестра духовых, от штаба... Игры, масса игр... И Анна Петровна, начальница, говорила, что все будут принимать участие, а старший класс останется до конца... Наша группа только готовит бал, а во время бала торговать и помогать будет другая группа... Мы там свободны. Мы там — э-эх, погоди-ка! — весело щелкнула Надя.

— Ну, так что, что до конца: обедать-то надо все-таки или нет? — сокрушенным голосом возражала Анна Евлампьевна.

— Да что ты: обедать-обедать, вот кухмистерша какая! Мы же и там... Накупили такую массу... Буфет... знаешь, наверху, в третьем классе, как раз над папиной

канцелярией. Поваров тоже от штаба и откуда-то из ресторана. Входных билетов совсем не будет — только на места... И Анна Петровна говорит, что разобрали... Ничего не осталось... Цены — выше некуда... Сбор, говорят, такой будет — на редкость!..

— И она с вами тут?

— И она... весь день, мамочка, буквально весь день... Ну, не узнаем мы свою Анну Петровну. Такие хлопоты развела — то и знай: а это купили, а это привезли, а это есть, а это есть, а того известили?.. Девчонки говорят — как старшая подруга стала...

— Ишь, развеселились, — как бы укоризненно обронила по чьему-то адресу Анна Евлампьевна. — Чему веселятся, что хорошего-то затеяли?

— Да что ты, мама... Что ты, право, сегодня какая, шипишь и всем недовольна... Говорю я тебе, что там закусываем. Совсем и не голодна...

— Не голодна, — с трудом, неохотно сдавалась Анна Евлампьевна, — а вон глаза-то совсем провалились...

Надя вдруг повернулась, подошла к зеркалу и стала рассматривать лицо, то щурила глаза, то широко их раскрывала, морщила губы, постукивала зубами и рассматривала их чеканную, ровную, блестящую цепочку... Гладила шею, поправляла волосы, проводила тихо, мягко по щекам, словно отыскивая, что тут пристало... Даже за нос себя потрогала...

В ней пробудилось за эти последние дни то самое повышенное, возбужденное состояние, которое испытывала она всегда в подобных случаях: как только вечер, бал, именины ли у подруги — Надя будто перерождалась в веселую, беззаботную, смеющуюся юницу; она в этих случаях была просто неузнаваема, и немало дивились подруги, когда Надя звонко, весело хохотала, носилась и прыгала в играх, резвилась, как ребенок, захватывала и увлекала всех своей простодушной, искренней веселостью, охотно и много танцевала, пела в хору. А наутро ее встречали — снова серьезную, спокойную, тихую, будто увлек вчера Надю случайно какой-то дикий шквал, покрутил, повертел и оставил снова погруженной в свои мысли, занятой какими-то своими неизменными, постоянными заботами.

— Скоро, что ли, пойдешь? — спросила Анна Евлампьевна.

— Скоро, мамочка, скоро, пора собираться... Ты принеси мне, пожалуйста, платье сюда, я пока причешусь... А выгладила, успела?

— Нет, вот тебя стану ждать, — нежно ворчала мать, ковыляя в другую комнату.

Надя собиралась. Скоро зашел за ней Коля Прижанич, гимназист последнего класса. У Прижанича с Надей, собственно, не было еще никакой интимности. Но последнее время они действительно встречались часто, много вместе гуляли, много говорили, и эти несколько «бальных» дней Прижанич неотлучно был при Наде, помогал ей хлопотать по устройству концерта. Таких «помощников» в гимназию приходило много. Начальница сначала косилась, даже делала замечания, а потом, войдя в роль «подруги», перестала вмешиваться, и гимназисты валили толпами... Время приготовлений к концерту было началом целого ряда романов в гимназической среде. Что-то в этом роде начиналось и у Прижанича с Надей. Сын богатых родителей, владельцев одного из лучших домов в городе, Прижанич считался «барином» даже в своей товарищеской среде. Одетый с иголочки, обычно надушенный и припудренный, с четким пробором гладко причесанных волос, высокий, стройный юноша, он как-то с первого взгляда отталкивал своим высокомерным видом, горделивою походкой, привычкой обращаться со всеми свысока, глядя всегда через голову того, с кем говорил, словно его собеседника тут и не было вовсе.

Он свободно изъяснялся по-французски и по-немецки, великолепно играл на скрипке, ловко танцевал мазурку, был даже изрядно начитан и умел говорить на любую тему. Надя была польщена тем вниманием, с которым относился он к ней за эти последние дни, — он, такой для всех неприступный и гордый! Была не раз взволнована Надя теми странными и обычно так мало понятными разговорами, которые он вел с ней, — о Толстом, о Шопене, о браке, о боге, о гражданской войне на Кубани... О чем они только не говорили! И по каждому вопросу Прижанич рассыпался одинаково уверенно, обо всем, казалось, имел он твердо установившееся мнение... Это особенно нравилось Наде — потому, главным образом, нравилось, что сама-то она этих твердых мнений как раз ни о чем и не имела. Все она знала понемногу, все как будто и понимала, но связать в одно целое, прони-

зать все свои разрозненные знания каким-нибудь одним ясным мировоззрением — нет, этого она еще не могла, не умела! И потому в Прижаниче видела она человека бесспорно умнее, чем сама она, потому и была польщена, потому и радовалась, торжествовала в душе, что он так явно стремится к ней подойти все ближе и ближе... Когда, уж совсем одетая, она услыхала теперь, что Прижанич зашел, чтобы вместе идти на концерт, Надя радостно вспрыгнула, зарделась, пуще прежнего заторопилась.

Огромный зал гимназии залит огнями. По стенам однообразной плотной чередой стоят блестящие глянцевитые стулья; будто нарядные куколки, красуются расцвеченные, увешанные гирляндами киоски, и из них, словно многоцветные веселые попугайчики, выглядывают милые головки, засыпанные конфетти и серпантином, украшенные ранними цветами, цветными гребенками, булавками, шпильками... В зале не курят: чисто, высоко, светло, просторно. У дальней стены приподнялась обитая бархатом эстрада, над эстрадой два огромных портрета — в полном блеске, в орденах и в эполетах, перевитые цветными аксельбантами, увешанные дорогими погремушками. Чинно, одна за другой проплывают медленно пары, ходят раз, и два, и три, все по кругу, мимо стульев, одна другую внимательно оглядывают, улыбаются; зал гудит от смеха и от веселых разговоров... По коридорам разместилась молодежь, прилипла на подоконниках, забилась в классы, и здесь ей, видимо, свободней, веселей, чем в залитом огнями, торжественно убранном зале. Тут же, около хорошеньких гимназисток, то и дело вертятся, прихорашиваются, звенят малиновым звоном ловкие, расфранченные, блестящие офицеры. Они снисходительно посматривают на молокососов-гимназистов и реалистов, лишь изредка удостаивая их каким-либо незначительным коротким ответом. А те покуривают в кулак или в полуоткрытую форточку, выставив во все стороны дозоры, неестественно громко и фальшиво смеются, пытаются говорить вразумительно, авторитетным баском, чуть покровительственно, чуть-чуть небрежно... Всюду гам, смех, девичьи взвизги, хлопанье в ладоши, торопливые веселые, звонкие разговоры... Вдруг среди этого веселого гомона для всех неожиданно гря-

нула музыка! Обернулись, оглянулись в ту сторону, заторопились, многие быстро направились в зал, скользя оторопело по глянцевитому блестящему паркету... Концерт открывался. И, как это всегда случается, публика долго не могла разобраться со своими местами: разыскивала кресла, приставные сбоку стулья, рассматривала какие-то чуточные голубые талончики, друг друга спрашивая, друг другу объясняя. И все выражали недовольство, но вслух и громко не бранились, только отходили прочь, скорчив недовольную мину. Спорить было здесь не к месту: и общество собралось здесь, так сказать, наивысшее, одни избранники, да и цель концерта была почти что «святая», — ради этой высочайшей цели можно было и обуздать свои человеческие слабенькие страстишки... Поэтому и самая суета была здесь величественно-торжественная, вполне почтенная, очень милая суета. Когда четвертые, шестые, десятые ряды были заполнены, когда там все угомонилось и разместившиеся дамы тяжко отдувались от только что минувших тревожных поисков, а почтенные мужья их медленно и вдумчиво ошаривали потные лысины, в это время стали заполняться первые ряды. Тут не было никакого замешательства, не было даже и намека на какое-либо внешнее воздействие — нет, все это совершилось само собою, по раз установившемуся обычаю, ибо оно и не могло совершиться иначе: задние ряды всегда должны были видеть и чувствовать, кто сидит в передних, и... завидовать.

Но вот уже разместились и передние ряды. Попритихло кругом, только из коридоров доносилось отдаленное шевеление. Но скоро и там затихло.

Плавно, величественно и строго, с большим достоинством и пониманием важности момента выступила первою «душа бала», несравненная Анна Петровна, начальница гимназии, и долго склоняла во всех падежах любимое выражение «моя гимназия». Она благодарила собравшихся за честь, которую оказали они своим посещением «моей гимназии», говорила о традициях гуманности, которыми жила все время и живет до сих пор «моя гимназия»; говорила о благородстве и возвышенности целей, поставленных себе устроителями концерта в «моей гимназии», — одним словом, ее речь была направлена к тому, чтобы собравшиеся уяснили себе, какую колоссальную общественно-политическую роль играет

ныне в государственной жизни «моя гимназия». И все поняли, что хотела сказать Анна Петровна, все приветствовали ее, когда она, взволнованная и раскрасневшаяся, с еще большим достоинством на сияющем лице плавно, величественно спускалась с эстрады. Вслед за нею, лохмат и страшен, словно исчадие ада, вырвался откуда-то совсем неожиданно гимназический «батюшка». У него коричневой щетиной заросла не только голова, но и половина лба была сплошь волосата, и только белою полоскою просвечивала другая, узкая незаросшая половинка. Косматая борода лопатой падала вниз, а сверху проросла насквозь обе щеки, засыпала нос волосами, законопатила губы, скрыла в жестком волосяном мху оба уха — и от батюшки ничего не осталось, виднелся издали только страшный шар, волосяной, круглый сверху и чуть-чуть распластавшийся внизу. Когда батя начинал говорить, все его волосяное царство приходило в движение и было невозможно разобрать, откуда эти звенящие, лукавые, заискивающие нотки святого голоска: тряслись волосы возле ушей, встряхивался и законопаченный наглухо нос, и что-то шамкало, чавкало около губ. Батя мог говорить временами не то что восторженно, а прямо исступленно, — это случалось с ним обыкновенно в минуты негодования, когда кого-нибудь следовало проклинать, посылать кому-нибудь смертоносные укоры, впускать христианское жало в нечестивую душу и сверлить, сверлить, сверлить этим жалом, насколько хватит сил. Тут у него работали ноги и руки, вздымались, опускались, топали, хлопали, бурно протестовали, а темная широкая ряса, словно парус в непогоду, рвалась и металась в разные стороны, качала, как былинку, разгоряченного отца Гавриила — батю звали Гаврилой. Вздымалось валунами, дрожало и плясало его дремучее волосяное царство; здоровенная лопата билась по груди, а заросли возле носа и губ, сквозь храп и фырканье заплеванные негодующей ядовитой слюной, дрыгались в разные стороны и гневно тряслись — в соответствии с общим состоянием Гаврилы.

Батя гнусавым и кротким голосочком совсем тихо повел свою святенькую речь. Но чем дальше, тем больше входил в азарт, то и дело подогреваясь словами проклятья, что вырывались бурно из его дремучих волосяных зарослей.

— Богу угодно было, чтобы мы собрались ныне для святого дела помощи младшему своему страждущему брату. Сердце человеческое не может, дети мои, оставаться спокойным, когда земля застонала под мечом диавольским.

Пока Гаврила перечислял эти свои соображения, он спокойно стоял на месте. Только однажды, при упоминании имени господнего, воздел кротко руки к небу и чуть запрокинул лохматую голову. Все было в порядке. Но когда он перечислил соображения насчет гнева господнего до конца, когда он перешел к проповеди, укорам и проклятьям, — тут музыка пошла иная: Гаврила распрыгался и расплясался по сцене, как дикий разъяренный буйвол, и, надо полагать, брюхатые толстячки, сидевшие в первых рядах, чувствовали себя небезопасно. Гаврила размахивался что есть мочи здоровенными кулаками и с невероятной силой ударял по пустому пространству, сокрушая ему одному видимого врага. Он так могуче наносил удары, что начинало казаться на самом деле, будто кого-то он тут колошматит. Прорывавшаяся тягучая батина слюна расплевывалась яростно по сторонам, и мелкие брызги ее долетали до первых рядов. Через три минуты батиной речи толстяки и толстушки из передних рядов уже сидели, прикрывшись платочками, ежесекундно ожидая новых плевков освирепелого Гаврилы.

— ...они нарушили все законы божеские и человеческие, они разрушили святыни христианские, они господа бога вырвали из сердца, и проклял их господь, отвернул от них лучезарное лицо свое, наслал голод и мор на их проклятые города!..

Это батя костил большевиков.

— Где она, святыня? — завопил он дальше задрожавшим голосом. — Где она, церковь христианская? Где спокойствие земли русской, православной и где, — не загрызен ли зверями лютыми, — ее венценосный, богом поставленный правитель?

Когда был окончен и этот номер, один за другим показались на сцене «общественные деятели». Если Гаврилу возмущали главным образом преступления большевиков перед богом, то «общественных деятелей» возмущали большевистские грехи перед человечеством.

— ...Эти заклятые враги человечества и культуры,

эти хищные варвары, — сыпалось по адресу большевиков, — пришли и восстали единственно затем, чтобы разрушить добытые веками завоевания цивилизации и на пепле разрушенного прекрасного дворца культуры поставить грязное, смрадное царство... Они «отнимают», — что это значит? А это значит лишь одно: прикрыть красивыми словами самый бесчеловечный, вандальский погром и грабеж...

Таких речей было большинство, но были речи, построенные и иначе, так сказать, менее глупо.

— Кубань не может примириться с мыслью, — доказывал один из «умников», — с мыслью о том, что она всего-навсего богатая распаханная равнина, что ее надо сосать, доить, выжимать весь сок до полного изнеможения. Кубань еще и свободная страна, — если хотите, это маленькое самостоятельное, вольное издревле государство. И мы не хотим над собой ничьей тяжелой руки — ни царской, ни большевистской. Проживем сами по себе и сами собой сумеем управляться...

Оратор грустно поклонился. Аплодисментами проводили его с эстрады.

«Освободители» и «защитники» еще долго вылущивали свои гибкие, гладкие речи, заполненные клятвенными обещаниями, но даже и столь нетребовательной аудитории через тридцать — сорок минут сделался тошен невмоготу фальшивый этот пафос, безудержный ребяческий восторг и клятвы, клятвы, клятвы, которыми, как бисером, были унизаны все эти приторные, холеные речи. Уже на пятом ораторе поднялись из передних рядов двое толстячков и вышли. Через минуту вышли еще двое. Стали, по примеру передних, ворочаться неуверенно и в задних рядах—постукивали и поскрипывали стульями; кое-где начинали раздаваться частные разговоры, сначала шепотом, потом все громче и громче... Этим невежам сперва было шикали и строили недовольные мины, а потом перестали, ибо перешептывание сделалось всеобщим. Догадливая Анна Петровна, заметив понижение интереса к речам, сейчас же переговорила с кем следует и, заручившись согласием, одобренная и похваленная за тактичность и догадливость, за чуткость, распорядилась переходить к очередным номерам. Номера были незамысловатые — все те же, что всегда на подобных концертах: рассказывали чудаки смешные расска-

зики; актрисы и актеры декламировали то в одиночку, то попарно разную патриотическую чепуху; декламировали и чистенькие гимназисточки совершенно детские, невинные воробьиные стишки. Певуньи распевали, говоруны разговаривали, игруны наигрывали, плясуны отплясывали... Это было второе отделение. В третьем отделении — танцы.

Молодежь все гуще набивалась по коридорам; иные в классах откупоривали принесенное тайком вино и тянули из горлышка «для веселия»; парочки старались поукромнее выбрать уголок или спускались вниз по ковровой лестнице, толкались в раздевальной, выходили во двор... Надя с Прижаничем сидели на подоконнике в дальнем углу коридора, когда Чудров, один из знакомых ей реалистов, подвел к ней какого-то незнакомого молодого человека.

— Надя, вот мой приятель... Он очень хочет с вами познакомиться...

— Кто такой?

— Один знакомый, литератор...

— Литератор? Здешний?

— Нет, из Новочеркасска... Недавно приехал...

Надя охотно дала согласие. Чудров представил:

— Виктор Климов...

Познакомили Виктора и с Прижаничем...

После той ночи у Караева, когда он с Пащуком набирал листовки, Виктор успел многое сделать. Он уже установил прочную связь с неказачьим реальным училищем, откуда, между прочим, был и Чудров, связался с учительским институтом, двумя женскими гимназиями... Человек десять — двенадцать из этой молодежи встречались с ним ежедневно и подолгу охотно беседовали, то усевшись где-нибудь укромнее на лавочку, то забравшись к кому-нибудь на квартиру.

Надю Кудрявцеву указали ему как серьезную, умную девушку, и он теперь выбрал удобный случай, чтобы познакомиться. Недружелюбно, зло, высокомерно поздоровался с ним Прижанич. Виктор понял и оценил его с первого взгляда. Зато Надя сразу весело защебетала, осыпала его градом вопросов, и Виктору показалось, что он ошибся, что нарвался на обычную пустомелю и хохотушку, с которой не стоит даром времени терять. Но мало-помалу, разговорившись, он увидел, что под

этой, с виду легкомысленной, праздничной веселостью действительно кроется что-то другое, ради чего стоит с нею говорить, стоит ею заняться... Разговор принял сразу оживленный характер и главным образом у Нади с Виктором. Прижанич молчал, ожидал нетерпеливо, скоро ли будет выговорена эта обычная чепуха, что всегда выговаривается залпом при первом знакомстве. И не уйдут ли, на счастье, эти нежеланные собеседники. Но разговор с первых слов пошел другою дорогой. Климов не торопился уходить. Не уходил и Чудров; он примостился на подоконнике рядом с Надей и неотрывно смотрел в лицо Виктору восхищенными, влюбленными глазами; было видно, что этого Климов обработал по-настоящему.

— Вы у нас давно? — спросила Надя.

— Только приехал. Тут дядя у меня, телеграммой вызвал, — плел Виктор привычную басню о своем внезапном появлении с Дона.

— Что, беда какая-нибудь? — И Виктору показалось, что в глазах ее засветилось тревожное участие...

— Нет, беды никакой... Но уж такой он чудак: писем не любит писать...

Она засмеялась, засмеялся и Виктор.

— Ну, как наш бал? — продолжала она, видимо не желая ударить в грязь перед литератором. — Весело вам?

— Да что же, бал как бал, такие везде...

— Нет, вы все-таки поточнее: слышали речи?

— И речи слышал.

— Как батюшка-то наш расходился, а? Все вопросы в одну дугу скрутил! Чудак, он всегда у нас такой: как заведет, только слушай, чего-чего ни наберет...

И Надя выжидательно примолкла, не зная, как отнесется новый знакомый к такому разговору. Прижанич, молчавший все время с презрительной миной на лице и явно недовольный приставшими собеседниками, тоже насторожился, ждал, что скажет Климов. Он чувствовал в нем своего недруга — беспричинно, с первого взгляда, не сказав с ним еще и одного слова. И, угадывая, что Виктор батюшке больших похвал не отвесит, решил схватиться с ним на этом пункте.

— Батюшка другого сказать и не мог, — тихо ответил Климов, — у него должность такая, чтобы говорить...

— То есть что значит — «говорить»? — ехидно выплюнул Прижанич вызывающим тоном.

— А то «говорить», что в этом у него вся должность и есть...

— Что вы одно и то же заладили? — оборвал Прижанич. — «Говорить-говорить»... Все говорят, ничего тут нового нет...

— Так я знаю, что нового нет ничего, — как бы извиняясь, проговорил Климов, — но что же вы хотите от попа?

— Не от «попа», а от священника, — перебил Прижанич.

— Ну, от священника, — согласился Климов улыбаясь, — это в конце концов одно и то же... Я говорю, что словами своими он только и живет, а что же ему делать, кроме того? Хлеб есть надо и ему... У всякого свое дело: рабочий, тот на заводе, положим, строит что-нибудь, нужные вещи готовит и за это получает, а поп... то есть священник, — этот своим ремеслом занимается, про закон божий...

— Что же, закон божий — ремесло? — вспылил Прижанич, и тонкие ноздри его задрожали от неподдельного гнева.

— Чепуха! — брякнул вдруг и неожиданно молча сидевший Чудров. Прижанич только скосил на него левым глазом, повел бровями, но ответом не удостоил — он не хотел размениваться на этого нового противника, которого считал совершенным мальчишкой. Надя внимательно следила за развертывающимся спором и не знала еще, не дала себе отчета, чье мнение для нее самой дороже и вернее. Когда говорил Прижанич, она была всецело на его стороне, потому что и сама думала так же, как он, привыкла уважать священника и кругом всегда видела к нему только уважение. Но когда Виктор сказал про рабочих, что они выделывают какие-то полезные людям вещи, ее вдруг резнула мысль: «А что же, в самом-то деле, батюшка делает?» — И она растерялась мысленно, еще напряженней ловила каждое слово, встревожилась, заерзала на окне... Виктор умышленно не хотел обострять вопроса: он от Чудрова знал, кто такой Прижанич, и опасался, что тот заподозрит, если резать уж слишком откровенно...

В те дни, особенно в последние тревожные дни, когда город был полон слухами о массовом наплыве подпольщиков-большевиков, хватали не только за открытое выступление, но и за всякое непочтение к религии, к раде, к добрармии... В каждом таком протестанте видели опасного злоумышленника и забирали немедленно...

— Вы спрашиваете, ремесло ли занятие священника? — отвечал он Прижаничу. — Не знаю... это кто как смотрит... тому, кто не верит ему, — это даже и не ремесло, пожалуй, я неточно сказал, это просто ненужное и вредное занятие... А тому, кто верит, — о! тому, разумеется, совсем другое дело.

— Ну, для вас, например? — сощурился Прижанич.

— А для вас? — увернулся Климов.

— Я религиозную проповедь ремеслом не считаю, — крепко, твердо отрубил Прижанич. — Я думаю, что в религии для человека весь смысл его жизни, и если религию отнять...

— Да, да, — вдруг задыхающимся шепотом заторопилась Надя и вся вытянулась вперед. Про нее за спором как бы забыли, и теперь Прижанич сразу оборвался на полуслове, посмотрев ей в широко раскрытые прекрасные и наивные глаза.

Посмотрел и улыбнулся, увидев, каким глубоко искренним вниманием одухотворено было Надино лицо. Но продолжать спора уж не мог, ему стало вдруг скучно от этой ненужной, казалось, и совершенно отвлеченной темы. Ему захотелось только одного — остаться с Надей наедине и продолжать те личные волнующие разговоры, которые вели они до прихода Климова.

— Простите, — вдруг повернулся он к ней, — мы тут занялись совершенно неинтересным разговором...

— Нет, нет, продолжайте, продолжайте, — скороговоркой, словно чего-то испугавшись и боясь что-то потерять, проговорила Надя.

— Не стоит, давайте о другом, — махнул рукой Прижанич и выразил этим движением свое бесспорное превосходство, словно говоря: «Да что спорить? Я и без того все знаю!» А Климов улыбался. Чему? Наде была совершенно непонятна эта улыбка. После такого разговора, казалось ей, чему же было улыбаться? Но уж спор так больше и не возобновился... На какой-то

основной вопрос Надя не получила ответа, и вопрос этот, как заноза, впился ей в сердце.

«Конечно, Коля прав, — думала она о Прижаниче, вспоминая его твердые, ясные, такие знакомые ответы. — Конечно, прав». А в то же время ей хотелось слышать больше, больше, ближе узнать что-то такое, чего Прижанич, видимо, не знает и что знает этот вот Климов, так спокойно отвечающий на все вопросы.

— Пройдемся, — предложил Прижанич, полагая, что собеседники отстанут.

Но когда Надя соскочила с окна, Климов и Чудров пошли вместе с ними. Пересекли зал с танцующими парами, углубились в другой коридор. Здесь было почти совсем темно, только где-то в глубине отсвечивало окно. Слышно было, как в отдалении пели знакомый мотив, но что это за мотив — разобрать не было возможности. Они, перебрасываясь фразами, добрели до самой двери наглухо закрытого класса и через окошечко увидели там кучку офицеров. На столике бутылки, нарезанная колбаса, баночки со шпротами, хлеб...

Четверо, обнявшись и развалившись на лавке, распевали вполголоса гимн.

— Эка приютились! — усмехнулся Климов.

— Позор, — брякнул ходульно Чудров, — надо бы им сказать...

— Что сказать, оставьте, — вмешалась Надя, — что нам за дело, пусть сидят...

Прижанич молчал, будто и не видел ничего, только зло, ехидно улыбался. Они повернули к светлому залу.

— Коля! — кто-то окликнул Прижанича. В стороне, рядом с толстым плешивым полковником стояла разодетая, густо напудренная дама — мать Прижанича.

Он шаркнул, извинился перед Надей и отошел. Потом догнал, сообщил:

— Мама просит ее проводить... Я очень извиняюсь, но должен идти. Как провожу, немедленно сюда. Вы ведь останетесь, неправда ли? — спросил он Надю.

— Да, да, конечно, — и по лицу ее чуть уловимой тонкой рябью пробежало грустное сожаленье.

Прижанич ушел. Надя, Виктор и Чудров продолжали ходить взад и вперед, но разговор как-то сразу увял и поддерживался с большим усилием. Виктор все обшаривал те пункты, на которых к чей всего удобнее было

подступиться, но, заметив быстро упавшее настроение Нади, опасался быть назойливым и вел отрывочный, случайный разговор. Чудров рассказывал, как в учительской семинарии шесть человек ушло добровольцами в Красную Армию, как у них в реальном директор зазывал учеников в добровольческую армию. Надя слушала его рассеянно и, казалось, думала совсем о другом. Теперь на последнем сообщении Чудрова она вдруг оживилась:

— Вот и Коля говорил, что у них то же.

— Этот Прижанич? — справился Климов.

— Да... Он говорил: если только отступать придется, он непременно запишется.

— Ну, а как вы думаете, — спросил Климов, — почему вот он запишется, а мы с Чудровым, да, видимо, и вы сами, останемся здесь?

— Так зачем я запишусь? — пожала Надя плечами. — На что я нужна?

— Да он-то на что нужен?

— Как на что? — рассердилась Надя, и глаза заблестели недобрым огнем. — Затем же, зачем все, — воевать идет...

— Да полноте, Надежда Петровна, не все ж там воюют, что уходят с добровольцами.

— Ну, а по-вашему, зачем же?

— Страшно здесь будет... Оставаться страшно. Он ведь отлично понимает, что при советской власти ему тут не житье, вот и уходит...

Надя помолчала. Скользнула по лицу не то раздраженность, не то растерянность, и тихо, раздумчиво она выговорила как бы про себя:

— Страшно... Почему страшно? И отчего это в самом деле такое беспокойство кругом идет и конца ему не видно?.. Когда только все установится?

— Трудно сказать, — серьезно ответил Климов. — Во всяком случае скоро не установится. Посмотрите, не только ведь тут, а и кругом-то какое волнение — и на Дону, и на Украине, в Сибири, на Урале...

— А в Москве, что там слышно?

— О, в Москве другое дело... В Москве другое, совсем другое дело!

— Так почему же? — И Надя вопросительно по-

смотрела Климову в лицо. — Что там — люди, что ли, другие, отчего это так?

— Причин много, Надежда Петровна, а главное, что там рабочих много, и рабочих сознательных, готовых на все за свое дело...

— Вы так говорите, словно большевик, — усмехнулась она.

— Зачем «большевик»,— чуть стушевался Виктор, — я только объясняю вам, на вопрос ваш отвечаю...

— Какая все-таки эта революция долгая, — выпустила Надя наивные, как бы случайно сорвавшиеся слова. И вдруг поняла сама, что сказала пустое. Быстро спросила: — А что у вас там, в Новочеркасске, тоже неспокойно?

— Конечно, тоже... Теперь везде неспокойно, Надежда Петровна. Я думаю, и здесь скоро каша заварится...

— Да что вы? — встревоженно глянула на него Надя.

— Ведь красные-то подходят... Знаете вы это или нет?

— И близко?

— Недалеко... Город, видимо, будет обстрелян... Вот вам и каша.

— Ну, чем же, чем мы-то виноваты? — взмолилась Надя.— За что мы тут страдать должны? Да что же это такое?

— Без этого, знаете, не обойдется, — сказал ей Климов, — на то и война, чтобы люди гибли... Разве такие события даром проходят?

— Слушайте-ка, — перебил Чудров, — а не собраться ли нам, а?

— То есть как собраться? — спросила Надя.

— А вроде того, как офицеры... Они там «Боже, царя храни», а мы свое... поговорим, декламировать... петь...

— В самом деле, отлично, — согласилась охотно Надя. — Но где же?

— А я знаю где... Около физического кабинета, там совсем у вас глухой класс, двери наглухо, деревянные...

— Но там же электричества нет...

— А мы со свечкой... Я достану... Ну, идет?

— Я с удовольствием, — согласилась Надя.

Они живо договорились, кого можно пригласить, насчитали всего человек двадцать пять и порешили сей-

час же взяться за сборы. Чудров побежал вниз, а Надя с Климовым отправились в зал. Виктор еще раньше условился с Чудровым, что такую интимную вечеринку собрать необходимо, и потому при разговоре молчал, только, когда она спросила его мнение, сказал:

— Отчего же, делайте... Только потише придется, неудобно...

Они ходили вдвоем по коридорам, по классам, спускались вниз, четыре раза встречали Чудрова — он носился разгоряченный, с красным лицом, с горящими глазами. На ходу шепнул Климову:

— Отлично идет. Двенадцать человек на месте...

Минут через двадцать в глухом холодном классе, где уж давно не занимались, при свете двух стеариновых свечей собралось человек тридцать молодежи; среди них было восемь девушек-гимназисток. На первых порах все чувствовали себя несколько странно, недоумевали, не знали, зачем собрались. Узнавали друг друга, удивлялись встрече, расспрашивали. И никто ничего не мог сказать о цели собрания.

Чудров оттащил к доске стул, вскочил на него, отрывисто заговорил:

— Ничего особенного... Мы, говоря откровенно, там, в зале, как на похоронах, а здесь давайте веселиться как следует, будем петь и декламировать, рассказывать что-нибудь, играть, хотите, а?

Все вздохнули облегченно, увидев, что «особенного» и в самом деле нет тут ничего. Всем очень понравилась мысль о такой товарищеской вечеринке, и уж через минуту весело гуторили, смеялись, некоторые даже предложили натащить сюда чаю и бутербродов. Но большинство запротестовало:

— Увидят — все пропадет... Не стоит, ребята, не надо...

Чудров не слезал со стула, он все еще не знал, как начать.

— Слушай, Петровский, начни ты первый... я знаю, ты отлично говоришь.

— Петровский... Петровский! — зашумело все кругом. Но Петровский отказывался.

— Да не ломайся, братец, что ты, словно в зале, — сострил Чудров.

Все весело рассмеялись. Петровского протолкнули к стулу, затащили, поставили:

— Говори!

— Да что же я буду? Я, право, ничего не знаю.

— Ну-ну!.. «Не знаю»... А помнишь: «Друг мой, брат мой»?

Петровский пробовал было еще раз отказаться, но, видя, как назойливо все пристают, начал:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат!
Кто б ты нн был — не падай душой.
Пусть иеправда н зло полиовластно царят
Над омытой слезами землей...

Он начал довольно вяло, но чем дальше, все больше и больше воодушевлялся, а стоявшие притихли, замерли, и последний стих прозвучал уж в гробовом молчании...

Мир устанет от мук, захлебнется в крови,
Утомится безумной борьбой
И поднимет к любви, к беззаветной любви
Очи, полные скорбной мольбой!

Кончил... Все молчали. Так молчали несколько секунд.

— Молодец!.. браво... браво!.. А ну, еще что-нибудь...

Но Петровский спрыгнул со стула и пропал в толпе. Снова вскочил Чудров, он был вполне доволен началом.

— Товарищи! — и остановился на мгновение.

— Я буду вас звать «товарищи» — говорят, у студентов, в университетах, по-другому никак не зовут... Я вот что, товарищи, — продолжал он, торопясь, — вместе с нами... тут у меня один приятель... знакомый хороший... литератор... Он тоже бы хотел...

— Просим!.. Отлично!..

Виктор медленно забрался на стул.

— Я скажу, товарищи, одно стихотворение, написал я его года четыре назад...

— Просим!.. просим!.. — продолжали шуметь кругом.

При свете двух крошечных свечушек лица у всех были, как восковые, а глаза особенно, по-кошачьему, блестели. Полумрак и вся эта необычайная обстановка действовали возбуждающе, и самое простое, обычное слово приобретало здесь какой-то чарующий смысл. Настроение повышенное, все ждут чего-то исключитель-

ного. Виктор минуту постоял молча, ждал, пока уляжется волнение, поерошив волосы, оглянулся кругом.

— Тише... — сказал он чуть слышно.

Все примолкли, подумав, что он успокаивал шум, но Климов уже начал стихотворение:

Тише... Огромное чудо свершается —
В темном лесу великан пробуждается,
Вздыбилась грудь, как волна...
Он еще дремлет под шапкой мохнатою,
Он еще сердцем и мыслью крылатою
Не пробудился от сна.
Полымем алым заря занимается,
Солнечный шар из-за гор подымается
Богатыря осветить;
В заросли хмурые, в дебри безродные
Врезать лучи золотые, свободные,
Светом от сна пробудить.
Слышите, по лесу словно шептание?
Это его, великана, дыхание
Шутит, играет листвой...
Слышите звон и биенье неровное?
Это колотится сердце огромное —
Чует восход золотой...
Тише... Рядами сомкнитесь готовыми...
С ярким светильником, с думами новыми —
Новая сила идет.
Встаньте торжественно, в полном молчании,
Дайте дорогу при светлом сиянии
И пропустите вперед...

Впечатление было неотразимое. Каждый понял, кто этот великан, что пробуждается к новой жизни. Но каждый понимал, конечно, по-особенному, по-своему. Декламировал Климов превосходно, — он сумел в слова свои вдохнуть такую силу, что образ дремучего великана стоял, как живой, и когда говорил про шорохи лесные, про лесное шептанье, — всем почудилось, будто кругом зашумело, зашептало, зашелестело...

Надя стояла впереди, у самого стула, и восторженными глазами смотрела Виктору в лицо, а когда он окончил и проходил мимо, она схватила его за руку, крепко ее сжала, шепнула:

— Как хорошо!.. Как хорошо!..

Виктор остановился, посмотрел в прекрасные темно-серые глаза Нади и тихо ей ответил:

— Не так хорошо, как верно... Это главное!

Они отошли, присели на парту, разговорились.

Никто не хлопал, не шумели и «браво» не кричали — стихотворение подействовало совсем иначе: по-двое, по-трое оживленно говорили между собой, обсуждали, о чем-то спорили... Чудров уловил это настроение...

— Товарищи! — обратился он. — А не попросить ли автора дать нам свои объяснения, что-нибудь рассказать про великана?

— Да, да, очень хорошо... Просим!

— Идите,— подтолкнула его Надя и улыбнулась дружелюбно. Казалось, от недавней грусти не оставалось у нее ни малейшего следа. Она была, как под гипнозом, как зачарованная слушала то, что здесь восторженно, так юно, так увлекательно говорили со стула, из тьмы... Она смотрела на эти бледновосковые одухотворенные лица ребят и подруг и не узнавала их, удивлялась им, поражалась тою переменою, которую в них находила... Виктор снова на стуле. Он взволнован. Общее настроение передалось и ему.

— Вы понимаете, конечно, товарищи, — обратился он, — о ком я говорю... Это стихотворение писано только в предчувствии, в ожидании... А теперь, когда мы с вами здесь, теперь пришло время, и великан пробуждается. Он на ногах и с поднятым высоко факелом гордо идет вперед, смело шагает к новой жизни... Он сокрушает препятствия на тернистом пути. И никакая сила перед силой его безмерной не устоит! С грохотом трескаются и лопаются устои гнилого старинного дома и рушатся, падают, в пепел стираются под чугунной поступью великана... Он придет к своей цели... придет... Вся Россия, миллионы поднялись на борьбу... Закружились вихрем события! Старый мир, наше мрачное подземелье, зашевелился со злобным шипеньем, как растревоженные гнезда змей: зашипел, заскрипел, обнажил ядовитые жала... Но не ему бороться с великаном, не ему великана победить... И мы с вами — молодые, полные жизни, надежд, полные лучших стремлений — мы с вами должны быть готовы к борьбе!! Неужели не хватит мужества выступить нам, у которых вся жизнь впереди, на которых так много надежды, неужели не хватит у нас сил придушить это шипучее ядовитое гнездо?.. Кубань накануне великих событий... Я знаю, что многие из вас не знают настоящей правды о великане, что идет сюда с зажженным факелом...

Этот великан — рабочая сила, она движется грозно сюда стальною щетиной штыков, идет под красным флагом, вот где наше место, вот кому должны мы отдать свою молодость, свои силы, а может быть, и свою юную жизнь... Только тот творец жизни, кто жизни этой отдает свою силу, свой труд, а не сидит паразитом на чужом трудовом горбу!.. Многих из вас не качала нужда — все вы живете и спокойно и сытно, — а задумывались ли вы, откуда у вас это спокойствие, эта сытость?.. Нет, тысячу раз нет. А думать надо! Только подумав и поняв, можно выйти на дорогу жизни... Пусть не связывают, товарищи, вас никакие привычные узы — будьте свободными и свободно думайте над тем, как надо строить жизнь! Наша молодость, наша сила, вера наша в победу труда, наше горячее стремление быть счастливыми и счастье дать другим — пусть это все выводит нас на дорогу!!!

Гробовым молчанием ответили собравшиеся на климовскую речь. Все были глубоко взволнованны и в первую минуту, как кончил он, даже как будто растерялись, не знали, что делать, что говорить. Вдруг на стул прыгнула Надя.

— Он нас зовет, — энергично вскинула она правой рукой в сторону Виктора, — зовет к новой жизни... Спасибо, друг!.. Он разбудил в нас хорошие чувства и вызвал к жизни живую мысль... Но мы слепые. Мы же не знаем... Мы не знаем совсем, как это надо делать... Что нам делать, мы этого никто не знаем... Ведь одного настроения мало, — нам надо, чтобы путь указали... Так ли? Ведь мы же совсем слепые...

И один за другим, одна за другою — юноши и девушки — говорили со стула, рассказывали, как это смутное желание добра и правды, это стремление найти верный путь тревожит каждого, но гибнет беспомощно, потому что нет поддержки, нет совета, нет учителя... Климов выступал еще два раза и говорил, как этот путь к настоящей жизни надо искать, рассказал про борьбу рабочего класса — давнюю, упорную организованную борьбу... Его слушали с напряженным вниманием... Боялись проронить слово... Оживленные, взволнованные, полные странных мыслей и чувств, расходились они из полутемного класса. Всею гурьбой ввалились

в светлый танцующий зал, где так резало глаза, где было так скучно и стыдно, а за что — не понять!

Как только миновали зал, Надя объявила, что идет домой, оставаться дольше не хочет.

— А Прижанич хотел вернуться? — посмотрел ей Климов испытующе в лицо.

— Может быть, вы со мной пойдете? — сказала ему Надя вместо прямого ответа и улыбнулась легкой дружеской улыбкой... Они спустились вниз, оделись и быстро-быстро направились к Штабной, всю дорогу обсуждая отдельные моменты, отдельные фразы, мысли, слова, что говорились на этом необычайном сегодняшнем собрании.

На следующий вечер Климов отправился к Кудрявцевым. Надя просила его приходить запросто, не стесняться, не чураться ее семьи. В условленный час Виктор был на месте, пришло человек пять-шесть и из участников вчерашней вечеринки в глухом гимназическом классе. И, странное дело, все как будто стыдились того, что вчера наделали; первое время старались об этом не говорить, не вспоминать... Только Надя одна нет-нет да и заденет кого-нибудь или начнет вдруг рассказывать, какая она вчера была экзальтированная, как она все тонко чувствовала и переживала, как все вчера понималось и усваивалось быстро, точно и верно.

— Мне думается, — говорила она, — вот это вчерашнее состояние и есть то самое, в котором человек может решиться на большое, на трудное, даже на геройское дело!.. Ведь мы там про себя совсем забыли и не думали... Как бы другими стали, переродились, словно ни чуточки себе и не принадлежали, а захватил вот вихрь и мысли и чувства и понес, умчал, закружил... Ах, какое это было состояние! Я так бы хотела его снова пережить... А знаете что? — остановилась она.

— Ну, что, что?

— Я думаю, надо повторить...

В разговор вступило сразу несколько голосов. Виктор сознательно молчал: он вчера, провожая Надю, намекнул ей, что хорошо было бы создать этак небольшой товарищеский кружок, от времени до времени собираться и беседовать по тем самым вопросам, которые вчера так всех взволновали. Она восторженно приняла его мысль о кружке и теперь торопилась ее осуществить. Сделав как

бы от себя это предложение и увидев, что отказа не будет, что все согласятся охотно, она тут же прибавила:

— А вот товарищ Климов тоже приходить станет... Хорошо? Станете приходить? — улыбнулась ему Надя.

— Что же, с большим удовольствием...

И получилось, будто кружок этот создали они сами, а его пригласили только «бывать» — по такой системе Климов создавал уже не первую группу. И с этого дня почти каждый вечер собирались они у Нади в комнатке, читали книжки, принесенные Виктором, обсуждали, спрашивали его, учились. Другая группа объединялась вокруг Чудрова, и была еще компания в четыре человека из слушателей учительской семинарии.

IV. Трое

С того самого вечера, как в гимназическом полутемном классе Виктор декламировал и держал девушкам и юношам восторженную речь, с того самого вечера Надя была неспокойна при встречах с ним. С тревогой, с затаенной волнующей радостью ждала его прихода; как зачарованная слушала и все-все старалась понять, когда он, спокойный, серьезный, занимался с кружком; становилась тиха и печальна, когда Виктор поднимался, пожимая ей на прощанье руку. Она чувствовала к нему тонкую, нервную привязанность, она как-то быстро во всем привыкла ему доверять и сама не понимала, как это все так скоро случилось. Но привязанность Нади не была только сердечным влечением — она сама отлично понимала, что, кроме того, в отношениях к Виктору у нее что-то есть и иное, на это не похожее — более ценное, более серьезное и вместе с тем как бы более простое.

Живая, постоянно пытающая свои силы и постоянно силами своими недовольная, окрыленная радужными надеждами, верой в будущее и не верящая себе ни на грош в настоящем, она то и дело заглядывалась, любовалась на чужие достоинства и видела их там, где не было даже признака этих достоинств. Часто звонкую самоуверенность она принимала за настоящую силу; хвастливую, болтливую развязность могла принять в другом за «свободный» дух; мрачное и беспричинное

недовольство — за глубину и серьезность натуры, — словом, каждое внешнее проявление в другом она готова была посчитать за признак внутренних и незаурядных достоинств.

В каждом человеке старалась Надя видеть и находить те «добродетели», что возвышали его и оправдывали. Но из всех близких один постоянно преобладал над другими, выделялся из этих других на целую голову, выше всех рисовался в Надином воображении.

До гимназического вечера таким духовным гигантом стоял перед нею Прижанич: его находчивость, его уменье на любой вопрос дать понятный и как будто бесспорно верный ответ, вся его манера твердо и уверенно держать себя среди других — это рисовало Прижанича в глазах Нади человеком особенных, чрезвычайных достоинств и дарований. И она искала у него ответа на все вопросы, что тревожили или просто занимали ее. Но за последнее время, когда на сцену появился Климов, она увидела и поняла, что у него, у Климова, еще точнее, еще вернее и неопровержимее эти ответы на любой вопрос. И ответы Климова родятся откуда-то совсем-совсем из других источников, построены не так, как у Прижанича. И Надя раздвоилась: первые дни не знала, куда ей деться со своими мыслями, каким доводам верить, чью сторону взять, когда между Виктором и Прижаничем разгорается спор. А спорили они немало. Встречались и у Нади, встречались и случайно на улице.

Как-то вечером, в такой час, когда воспрещено было ходить по городу (военное положение готовилось перейти в осадное, и режим надзора сгустился до последней степени), Виктор и Надя бродили вдвоем под окнами и вели между собой нескончаемый разговор, перебрасываясь с одной темы на другую, ни одной не доводя до конца. С противоположной стороны от забора отделилась вдруг человеческая фигура и направилась к ним. Это был Прижанич. Он где-то добыл себе разрешение и теперь имел право в любой час ходить по городу.

— Вечерний моцион? — постарался улыбнуться он, ближе подходя к Наде и Виктору. Но улыбка не удалась.

— Разговоры разговариваем, — ответила Надя весело, сама первая подавая руку.

— Слышал... Еще от угла услыхал... разговоры... Здравствуйте, — протянул он Климову руку.

Тот молча подал свою.

Как только подошел Прижанич, разговор сбился с темы и уже не мог возобновиться в той форме, как они вели его прежде. Прижанич рассказывал какие-то «интересные случаи» о своих отношениях с мамашей, раза два касался вопроса о раде, но все это выходило как бы мимоходом у него, отрывисто, даже зло. Словно говорил он и сам не знал, зачем это говорит, а вот главное, что-то самое главное — так и не мог сказать. Как только увидел он Надю два — три раза вместе с Климовым, не мог он с тех пор держаться с нею попрежнему: вместо ласковых и нежных слов все хотелось ее оскорбить, наговорить ей дерзостей, за что-то больно-больно отомстить. А еще больше злило то, что сама-то Надя, казалось, и не видела, не чувствовала этого в нем состояния — она, как прежде, так же весело с ним встречалась, так же охотно разговаривала, и, пожалуй, даже разницы не было никакой между теми встречами, что теперь, и теми, что были раньше...

«Ну нет, раньше было совсем другое, — думал Прижанич, — она тогда не только была весела, но и рада была нашим встречам... она их хотела, она их ждала, она заботилась сама, чтобы эти встречи были, а теперь и встретиться и не встретиться — ей все равно... Это Климов... У!.. Черт его дери! И чего ему тут нужно... треплется каждый день...»

Прижанич, конечно, видел, что Климов его вытеснил с первого места и поглотил всецело Надино внимание, но он никак не мог помириться с этой мыслью и не мог допустить, чтобы он, Прижанич, и вдруг оттеснен каким-то замухрышкой-литератором. Нет, нет... это случайность, это баснями затуманили Надину голову, и надо ей во что бы то ни стало объяснить, показать, рассказать... Но что же? И как все это сделать? Он настойчиво продолжал добиваться каждый раз и где только можно было свидания с Надей: ловил ее на улице, встречал ее по пути из гимназии, приходил к Кудрявцевым и все не терял надежды вернуть ее, образумить, рассеять климовский туман... Зачем была она ему? Он этого и сам не мог бы сказать, ибо «любви» никакой у них не было,

он просто чувствовал себя оскорбленным ее предпочтением Климову. И единственно из самолюбия, уязвленного самолюбия, продолжал свои ухаживания за Надей. А еще следил он за Климовым. Как ни сдерживался Виктор при спорах с ним, но не мог он, разумеется, поддерживать ту чепуху, которую авторитетно нес Прижанич. И как ни старался своим возражениям и пояснениям придать характер полного бесстрастия, выходило, однакоже, таким образом, что все, что говорил Прижанич, навыворот понимал Климов, и наоборот. В Климове чувствовал Прижанич врага и решил теперь свести с ним счеты. Он сегодня пришел сюда не просто поговорить, повидаться с Надей, — у него созрел план на иное дело. От кого-то из знакомых Кудрявцевых он услыхал, что к ним собираются кружком, читают, спорят, обсуждают разные вопросы. Заходя от времени до времени к Наде, Прижанич никого там не встречал, кроме ее подруг и двух — трех реалистов, — словом, той публики, которая и раньше всегда бывала у Кудрявцевых. Он даже мысли не мог допустить, чтобы эти «молокососы» могли заниматься чем-нибудь серьезным. Он предполагал, что собирается какой-то другой, тайный, «кружок», и в центре этого кружка представлял себе Климова. За последние дни, когда настроение в городе взвинтилось и когда в соответствующих кругах поговаривали о близком и неизбежном отступлении, Прижанич не раз и не два толковал на эту тему с мамашей, и они, конечно, также порешили уезжать из города вместе с добрармией. Все «молодое и благородное» призывалось под знамена, во всех школах велась усиленная агитация за вступление в ряды добровольческой армии — не устоял против этого искушения и Прижанич; он вот уже больше недели, как зачислился агентом охранки. И теперь на кудрявцевском деле он решил разом убить двух зайцев: во-первых, выслужиться и продвинуться вверх, завоевать известную «славу», а вовторых — отомстить и Наде, и Климову, и всем, всем, всем за кровную обиду, что была ему нанесена, за пренебрежение, ему оказанное... Поболтав теперь о разных пустяках, он пытался перевести поудобней разговор на политическую тему. Это было сделано легко, ибо Надя хваталась за темы эти с жадностью, а Климов вообще не начинал сам никакого раз-

говора и в то же время в каждом разговоре участвовал охотно.

— Слышно, что красные получили здоровенную баню за Тимошевской, — сказал он.

— Вот как слухи противоречивы, — усмехнулся Виктор, — а я слышал, что все продвигаются...

— Откуда слышали?

— Да на улице... кучка стояла... говорили...

— Чепуха... пустые слухи!..

— А что это, — спросила Надя, как будто совсем наивно, — стрельба очень слышна стала, значит, близко, а? Вы знаете, Коля?..

— Это... это пробная... новые орудия привезли... массу орудий привезли... пробуют... Об этом же объявлено по городу, разве не читали?

— Нет.

— А... так почитайте... как же, везде расклеено...

Виктор улыбнулся чуть заметно, и Надя, заметив эту улыбку, улыбнулась сама.

— Я слышала еще, — сказала она, обращаясь к Прижаничу, — будто некоторые из членов рады поспорили, что ли?.. Уехали совсем по станицам: не хотим, говорят, больше ничего... едем и только. Что это, Коля, отчего так?

— Да кто вам такую чепуху говорит? — с силой прорвался Прижанич. — Откуда это? Рада... да рада, как стальная... Макаренко вчера на вечернем собрании говорил, в слезы весь зал ударил... Вот говорит! Как один человек поклялись: умрем за Кубань, а не отдадим!

Но когда Климов по ходу разговора вынужден был впутаться в обсуждение вопроса о «единстве» рады, Надя, дрожа от радости и гордости, почувствовала все превосходство его логики и доводов надо всем тем, что говорил Прижанич.

— Кубань едина, — доказывал Прижанич, — она не хочет никого, кто бы вмешивался в ее дела... Сама справится со всеми.

— Кубань единой быть не может,—говорил Климов,— имущественная рознь, вы сами знаете, неодинаковая обеспеченность — все это не может дать единства...

И простым, но убедительным словом Климов рассеивал всякую муть, весь туман, что оставался от слов Прижанича.

— Какое тут единство, — говорил он, — когда друг дружке готовы горло перегрызть! И это ведь независимо от злой или доброй воли Макаренко, Быча или кого другого... Они, может быть, самые прекрасные люди... Не в этих личностях дело — дело совсем в другом. Различное имущественное состояние (Виктор умышленно сглаживал и упрощал вопрос) по-различному настраивает и каждую имущественную группу. Разве мало здесь, на Кубани, самой настоящей бедноты, у которой положение ужасно и которая выхода из этого положения не знает и не видит, не находит, кроме открытой борьбы... Так всегда в природе и в обществе кругом идет непрерывная неизбежная борьба: одно нападает, другое сопротивляется, одно побеждает, другое гибнет.

— Да разве я отвергаю, что жизнь — борьба? — фальшиво возбуждался Прижанич. — Борьба... за лучшее будущее, за счастье...

— Борьба не только человека с природой,— добавлял Виктор, — но еще и человека с человеком, — вот именно то самое, чему теперь мы с вами свидетели...

— Ее не было бы, этой борьбы, если бы большевики не лезли на Кубань!..

— Они, видимо, не могут не лезть, — как-то небрежно уронил Климов.

— Как не могут? Кто их зовет? Кто их толкает сюда?

— Да неужели вы не знаете — кто и что? — посмотрел в глаза ему Климов. — Нужда гонит, опасение, что отсюда, с Кубани, собравшись с силами, на них могут походом пойти. И потом, что значит *гонит* — разве мало здесь своих, доморощенных?

— Так, черт возьми, что же Кубань — харчевня, что ли? — вспылил Прижанич.

— Зачем харчевня... обмен... одно за другое... Я думаю, что так... во всяком случае, я сам себе так объясняю... нельзя же все объяснять злой и доброй волей человека, тут и другое есть.

— Другое... — проворчал Прижанич и не нашелся, что бы еще можно было сказать, а Климов продолжал свою мысль.

— Даже и не опасения и не голод, пожалуй, у *них* главное, а главное то, что дело тут общее — *общее*

дело, вот что! — с силой подтвердил Виктор. — И не может быть по-другому. Теперь вся Россия старая пополам — и Кубань, и Сибирь, и Украина — везде пополам: две половинки — одна белая, другая красная... И белая на всю Россию, и красная на всю. Одна с другой перепутались, но уж непременно по всему тут фронту одна против другой! Будет Дону большая опасность от красных, разве не пойдет на помощь отсюда добровольческая армия?

— Пойдет! — повел губами Прижанич.

— То-то и дело, что пойдет, неизбежно пойдет, потому что дело общее... Все едино и там, у красных, у них тоже дело общее.

— То есть как общее? — перебил Прижанич. — Это здесь, на Кубани, да с кем же общее-то оно?

— Ну вот с теми, что дожидаются Красной Армии... А такие есть, что дожидаются... Кабы их не было, да разве не поднялась бы теперь Кубань, как один человек? Эге, давным бы давно... А ведь молчит... видно, ждет...

— Не ждет, а устала, — поправил Прижанич. — Измучили ее... Вот передохнет, тогда...

И он, не доканчивая своей мысли, только мотнул головой, давая понять, что «тогда» совершится что-то необычайное.

Из окошка высунулась Анна Евлампьевна.

— Надь!.. шла бы, уж поздно, — окликнула она.

— Сейчас, сейчас иду, мама... Вы что же, — обернулась она к спорщикам, — вы продолжайте, она ничего... подождет...

Но вдруг остановившийся спор не возобновлялся.

— Пожалуй, и верно поздновато, — встряхнул Прижанич левым рукавом и посмотрел на ручные крошечные изящные часики. — А как же вы домой? — обратился он к Виктору. — У вас разрешение?

— Никакого, — усмехнулся тот, — я вот рядом... приятель...

— Кто это?

Виктор вскинул на него глаза и вдруг от этого вопроса насторожился, почуяв что-то неладное.

— Приятель. Да вы не знаете...

— Ну, я пошла, всего хорошего, — проговорила Надя и подала руку первому Прижаничу.

— Вы отчего не заходите, Коля?

— Да я же недавно был, всего четыре дня.

— А вы чаще... что тут...

И поспешно пожав ему руку, она прощалась крепко с Виктором... Прижанича рванула обида:

«Со мной простилась, словно отделаться только хотела... И слова как на ветер кинула, а с ним?..»

Надя не выпускала из своей руки руку Виктора, смотрела ему в глаза, говорила что-то, раньше обоим знакомое:

— Часов в пять, хорошо? — и, кивнув головой, пропала в калитку.

Прижанич молча простился с Климовым и зашагал по направлению к Красной. А Виктор, обождав, пока он скроется, отворил калитку и через двор, как это он часто делал по вечерам, вышел садом в соседнюю улицу, где на квартире у Еремеевых вот уже неделю как поселился под чужим именем Пащук.

Подкрался Виктор к окошку, стукнул три раза подряд и три раза тише, в разбивку, — условный знак, по которому Пащук открывал двери не спрашивая.

— Где ты, кобель, пропадаешь? — встретил он Виктора. — А Паценко ищет... Сейчас же лети... Он у Караева должен быть. Ждет тебя непременно и пропуск оставил. На!

Пащук подал Виктору пропуск, добытый в штабе через Владимира, и прямо из коридора повернул Климова за плечи обратно к выходу.

Когда Виктор добрался на Дубинку, он в самом деле Паценко застал у Караева.

— Собирайся, — встретил его Паценко.— Сегодня же на Крымскую... Я получил сведения, что будем брать через два дня... Отвези весь материал, тут у меня все отмечено подробно, как будем действовать в самом городе. Впрочем, едва ли и задержатся: надо быть, судя по раде, сами уйдут... Но на всякий случай вези, остальное расскажешь... В половине двенадцатого идет транспорт в ту сторону... Ты пока с ним... Владимир и сам едет; вот он тебе документы... а там сговоритесь, когда остановка будет... Ну, айда!..

Через минуту Виктор снова был на улице, шагая по указанному пути.

V. Обыск

На следующий день в доме Кудрявцевых совершилось нечто совершенно несообразное. Когда Анна Евлампьевна возилась с обедом, ожидая «Петрушу» с Надей, а Павел по обыкновению отлеживался на диване, вдруг завизжала калитка, застучали громко по ступенькам, по крылечку, в коридоре, настежь распахнули дверь, и трое незнакомых быстро подскочили к Анне Евлампьевне:

— Ты хозяйка?

— Я, а чего-то вы, соколики? — И с недоумением переводила она испуганный взгляд с одного лица на другое.

— На, гляди, — сунул ей в руку билет высоченный детина в поддевке, в мохнатой шапке, в ремнях, с револьвером на боку. Двое других — в шинелях, в кубанках — молчали.

— А я... чего я... — перевертывала она в руках билетик, не зная, что с ним делать. — Я вот позову... Павел!.. Павлуша!.. — крикнула сыну. — Чтой-то пришли, спрашивают...

— О... о... о! — отозвался Павел Петрович, не подымаясь с дивана.

— Ты поди глянь, бумаги, надо быть, — выговаривала она что-то и самой себе непонятное, разглядывая маленький билетик, где красовалась фотографическая карточка и зеленела печать.

— А... а... а? — недовольно потянулся Павел, но с дивана все же не поднялся.

— Да ты поди сюда... Что ты, господи помилуй...

Послышалось вялое ворчанье Павла и отдельные слова вроде:

— Опять тревога... отдыху нет... вздохнуть-то не дадут как следует...

Наконец он появился — с опухшим от сна лицом, мутными глазами, босой, в нижней рубашке, с подтяжками на плечах, волосы на голове дико были взъерошены. Молча и попеременно посмотрел он каждому в лицо.

— Вы к кому?

— Сюда, к вам, — ответила резко папаха.

— Ко мне? — уставился на него Павел.

— Не к вам одному, а к целому дому... Да ты смотри билет-то, — оборвал он резко и дернул билетик, что дрожал в руках у Аины Евлампьевны.

Павел взял бумажку с печатью, заглянул, понял, с кем имеет дело, и вдруг лицо его стало бледно, а губы запрыгали. Он глянул исподлобья на вошедших, проговорил:

— Кого же тут... Нас вот вся семья... Сейчас отец придет да Надежда... сестра...

В это время дверь отворилась, и в комнату вошел офицер. Не здороваясь ни с кем, он обратился к папахе:

— Немедленно произвести обыск... тщательный... да всех задерживать, кто придет!

Позвали со двора двух солдат, — там их стояло человек пять — шесть, — и началось... Анна Евлампьевна настолько растерялась, что позабыла про свою печку, про обед, и на кухне творилось у нее что-то невообразимое: с подшестка свалился горшок, разбился, и пролитый суп ручейками бежал в комнаты; занавеска, что висела у самой заслонки, как-то угодила краем в печку и затлелась — дым и вонь заполнили весь дом, и никто не знал, откуда этот дым, да и не до дыму тут было. Анна Евлампьевна сама не своя подводила незнакомцев то к сундукам, то к шкафу, к разным узелочкам и беспомощно, будто в чем-то оправдываясь, лепетала:

— Приданое... тридцать лет лежит... только в пасху да на рождество...

— Ладно, старуха, не лепечи, без тебя знаем, где что искать, — ответил ей тот, что разрывал сундук с приданым, — парень лет тридцати, смуглый, черноглазый, с хитрым цыганским выражением лица. Подошел от стола и второй агент: низкого роста, широкоплечий, с пьяными водянистыми глазами, без двух передних зубов.

— Скулит? — мотнул он головой в сторону Анны Евлампьевны.

— А нехай поскулит, перестанет, — ухмыльнулся цыган, разбрасывая вещи из сундука.

В это время детина в папахе, видимо бывший у них за главного, рылся за образами, выбрасывая оттуда какие-то узелочки, перевязанные пучки «святых» церков-

ных свечей, разные бумажки и тряпочки, что хранились там у Анны Евлампьевны с незапамятных времен.

— Ишь, напихали, — приговаривал он, просматривая бегло всю эту ветхую, пыльную рухлядь.

— На-ко, чего-чего нет!

— А тут что, тетка? — крикнули они Анне Евлампьевне, указывая на запертый шкафчик под киотами.

— И ничего тут... — залепетала Анна Евлампьевна. — Ничего, ей-богу, ничего, одна вода святая...

И как выговорила, слезы хлынули ручьем, грязным фартуком размазывала она их по лицу, сквозь рыданья приговаривала:

— Одна вода... Одна святая... Иконку-то бросили... — нагнулась она и подобрала крошечный образок, сброшенный со стены.

— Ну-ну, потом соберешь, — грозно гаркнула папаха. — Ишь разревелась... Открывай шкаф!..

— Да, право, тут...

— Открывай, черт! Разломаю!

Анна Евлампьевна поспешно достала из шкатулочки связку ключей и отперла заветный шкафчик, где хранились у нее разные святые водицы, крошечный медальон с волоском святого старца, баночки с песком чудодейственным из Оптиной пустыни, разные ложечки и крестики от Троице-Сергия — немало, словом, разных вещиц, к которым прикасалась она, как к святыне, с благоговением, не иначе, как с молитвой и трепетом, да и то в самых редких, исключительных случаях жизни. И теперь этот чужой, злой человек, с мохнатыми грязными руками выбрасывает одну за другою драгоценные, так бережно хранимые ею вещицы. Анна Евлампьевна не могла дальше вынести: смертно бледнела, долго дрожала мелкой дрожью и как стояла, так и грохнулась навзничь, посреди юбок, узелков, картин, чайников, святых вещичек из шкафчика...

— Ну, отлежишься, — прохрипела папаха, продолжая работу.

Павел кинулся было на кухню за водой.

— Эй, куда? — окликнул его беззубый.

— Воды... воды ей надо, — показал он на лежащую без памяти мать.

— Ничего, полежит...

— Как полежит? Я ей воды сейчас...

— Не ходи, говорю, аль не слышишь?! Вот кончу, вместе сходим. — И он продолжал перебрасывать вещи из маленького сундука, навалив целую груду и зачем-то иные откладывая в сторону. Цыган подтолкнул его в бок, хитро улыбнулся, указывая на Павла, и тотчас же кивнул в сторону кухни:

— Иди, мол, иди...

Беззубый, видимо, понял сразу, о чем говорил ему цыган.

— Ну, за водой-то, — обратился он к Павлу.

И когда те вышли в кухню, цыган поспешно начал обрывать с кофточки золотые брошки, потом выхватил со дна две коробочки, раскрыл, глянул, ухмыльнулся и все это быстро запихал в карман. Папаха рылась уже по шкатулкам, вытряхнув остатки из священного шкафчика; она тоже оглядывалась зорко и тоже что-то распихивала по карманам.

Анну Евлампьевну не удавалось долго привести в себя, а когда очнулась, такая во всем теле была слабость, что не могла стоять, и Павел положил ее на диван. Не то дремала в изнеможении, не то заснула, лежала недвижимая, ни слова не говорила, не отзывалась... Приподнялась только тогда, когда в самый разгар погрома явились один за другим Надя и Петр Ильич.

Надя догадалась быстро, в чем дело, — на эту тему с Виктором они говорили не раз. Не сказав ни слова, хотела проскочить к себе в комнату. Но ее задержали и оставили тут же, где разрывали шкафы и сундуки. Она прислонилась к двери, нервно передергивала края носового платка, переступала с ноги на ногу и разгоревшимися, заблестевшими глазами следила, как эти незнакомые люди расшвыривают все, что долгими днями укладывала, пересыпала, обертывала и увязывала бедная Анна Евлампьевна. А старик, как вошел, так и обомлел.

«Воры!» — решил он про себя и закричал бы, если б Павел не приложил палец к губам и не дал ему знать, чтобы молчал. Только тут понял старик, что произошло что-то исключительное.

— Это ужасно... Что это?! Господи... господи... — шептал он, грузно обмякнув в кресле и нервно подергиваясь головой в разные стороны. — Так за что это? —

вдруг спросил он и, поднявшись с кресла, кряхтя и охая, подступил к сыщикам.

— Приказано, — отрубила папаха, — вот и делаем. А ты сиди, старик, сиди, не болтай лишку...

— Да ищете что? — с сердцем спросил Петр Ильич.

— Что попадет, — урезонил его беззубый, перебрасывая с руки на руку и вытряхивая перед собой кофточки, юбки, платочки.

— Так, господи, что же это такое? — сквозь слезы вздыхал Петр Ильич, снова бессильно падая в кресло.

Когда здесь все было перерыто, отправились в комнату Нади. И так же, как возились они с юбками Анны Евлампьевны, расправлялись теперь с письмами, книгами, записными книжками: все это пересматривали, кое-как и наспех перечитывали, пакостно улыбаясь, найдя какую-нибудь интимность в переписке. Но все это было не то, что искали контрразведчики. Желанное не попадало. Глубоко потрясенная, Надя прислонилась к подоконнику, выглядывала оттуда запуганными, растерянными глазами.

И так ей стало горько, что чуть не разрыдалась, а потом вдруг опустилась вся, ослабела, даже перестала эту острую боль ощущать и стояла как бы в забытьи, видела и не видела, как один за другим открывались ящики — и в стене и в столе, как оттуда выбрасывались пачки драгоценных для нее живых документов и как их, словно торговка яйца на пробе, сначала рассматривали на свет, видимо не доверяя тому, что в конверте не одна, а две, не две, а три бумажки; потом выхватывалось письмо, часто раздирался хранимый конверт и отбрасывался в хлам, а письмо живо повертывалось в руках, и, когда было прочтено, оно делалось в глазах Нади скользким, отвратительным... Операция происходила в молчании. В комнате, кроме беззубого и цыгана, присутствовала одна только Надя: старики остались возле сундуков и теперь, охраняемые папахой, ползали там по полу, со слезами собирали разбросанные вещи, оттаскивали их в груду. Ползут-ползут навстречу друг другу, столкнутся, посмотрят в лицо — и слезы закапают, потекут по морщинам... Павел в это время, как и Надя раньше, хотел пробраться к себе, но его, как и Надю, задержали; выпустили его лишь тогда, когда выворочена была всем нутром наизнанку вся крошечная Надина комнатка. Оба

сыщика перешли к Павлу, а Надя одна так и осталась, застыв у окна, — недвижимая, окостенелая.

Ничего опасного не нашли и у Павла. Становилось ясно даже агентам, что весь обыск идет впустую или по ошибке, или по сознательно ложному доносу. Но для того, чтобы все проделать по форме, вскрыли в дому несколько половиц, заглянули и туда; под полом также было «место свято» — никаких провинностей. Залезли на чердак, ощупывали там печные трубы, даже вынимали наугад кирпичи, потом ковырялись в песке, засматривали за все перекладины — нет ничего, пусто кругом!

Детина в папахе уселся за стол, составил протокол, дал прочесть цыгану и беззубому; втроем подписались. Как будто все было покончено. Казалось бы, что теперь, после такого долгого и неудачного обыска, можно им было уходить во-свояси, но они и не думали трогаться, только расположились поближе к дверям, начали шепотком переговариваться между собой.

Засада!

Но и засада не дала никаких результатов, получился даже курьез: соседка Пелагея Львовна Ниточкина забежала спросить, не перелетела ли сюда во двор через изгородь рябая хохлушка-курица. И как только вошла за калитку, немедленно была задержана и препровождена в комнату, где сидела папаха. Тот учинил ей допрос: откуда родом, давно ли знакома с семьей Кудрявцевых, как часто у них бывала, зачем пришла теперь и прочее, и прочее. На обезумевшую от страха Пелагею Львовну было смотреть и скорбно и смешно: ответы у ней были невпопад, вопросы она наполовину не слышала, наполовину вовсе не понимала, так как не могла никак уяснить себе, зачем и кому потребовались все эти сведения. Продержали Ниточкину до позднего вечера, пока не пришел снова тот офицер, что отдавал приказание об обыске; он после нового допроса отпустил измученную Пелагею Львовну.

Найти кое-что, пожалуй, у Кудрявцевых и могли бы. У Нади в записной книжке, среди всякого рода заметок — о Достоевском, о любви, о половом влечении — были записаны и те соображения, которые Климов высказывал ей в личных беседах или развивал на собраниях кружка. Но все это сыщики пропустили, бегло просматривая написанное и разыскивая, видимо, как раз

только те места, где говорилось бы про любовь, про отношения Нади к близким ей людям. А потом, глядя на нее, наивную, юную, видимо не допускали, что тут может скрываться какой-то «враг», что у Нади могут оказаться какие-то «дела». На этот вечер кружок собирать не предполагалось, и когда Надя говорила накануне Виктору: «часов в пять...», то речь шла об условленной прогулке на берег Кубани. У Нади ничего не нашли еще и потому, что, по совету Виктора, никогда и ничего на квартире у Кудрявцевых собравшиеся не оставляли. Книжки, которые могли бы повредить делу, приносил и уносил или сам Виктор, или прятал за пазухой Чудров. Но занятия велись, положим, не только по этим книжкам. Виктор любил и такой способ: возьмет какую-нибудь дряненькую белую брошюрку, прочтет, а потом и начнет разъяснять, в чем ее несостоятельность, слабость или вред. Слушающие обычно все его мысли отмечали и записывали в книжечки или на листки и по этим запискам разбирались дома, а уж на следующем собрании разгорались по этому кругу вопросов разносторонние жаркие споры. Сегодня из членов кружка никто не приходил. Не пришел и Виктор. Всего больше опасалась Надя, что он, не найдя ее в условленном месте, придет сюда. Тогда... Она не знала, что будет «тогда», но содрогалась от одной мысли, что Виктор может попасть «им» в лапы. Хотя ни разу не говорил он ей о своей принадлежности к подпольной организации, не говорил о том, что большевик, но уж давно поняла, почуяла чуткая Надя, что Виктор чего-то не договаривает, что, несмотря на свою, казалось бы, полную откровенность с нею, он оставляет что-то «про себя», не сообщает ей. В этих мыслях не столько утверждали ее занятия Виктора с кружком, сколько разговоры их, долгие разговоры с глазу на глаз, когда ходили они по переулкам или по берегу Кубани. И особенно когда начинал ей Виктор рассказывать про эти вот прокламации, листовки, воззвания, что каждое утро развешиваются по заборам Краснодара: он говорил, как, должно быть, трудно все это выполнять, прятаться, каждую секунду ожидать, что накроют, и все-таки упорно делать, делать, делать свое дело! В эти минуты казалось Наде, что он рассказывает про себя, что он сам связан с такой организацией и с таким делом. Но не спрашивала его. А Климов сам никогда об этом

не проговаривался. И теперь Надя чувствовала, что не сдобровать ему, если угодит в руки засады. Но Виктор не шел. И рада она была тому, что не приходил, и в то же время хотелось видеть его: в эту горькую минуту было бы так хорошо с ним поговорить!

«Нет, нет, не надо, пусть лучше не надо сегодня!» — подумала она.

На этих мыслях оборвал ее чей-то громкий голос, доносившийся из спальни стариков. Это офицер допрашивал Пелагею Львовну:

— Часто ходишь?

— И где часто, — заторопилась старуха, — когда тут? Ты и на базар, ты и...

— Будет болтать, отвечай дело, — оборвал ее офицер и, увидев вошедшую Надю, впился глазами, сладострастно обшарив голову, грудь, весь стан до носков, посмотрел в глаза.

— А вы... вы тоже здешняя?

— Дочь, — из угла ответил за Надю Петр Ильич. Заметил старик остановившийся на дочери офицерский взгляд и хотел теперь одного — чтобы ушла она скорее...

— Вот вы и свидетельницей будете у нас, хе, хе, хе... Показывать будете, как все было...

— Так отпусти же, ваше благородие, — взмолилась Пелагея Львовна, — ей-богу, отпусти скорее!

— Старуха! — прикрикнул офицер.

Та вдруг съежилась, смолкла.

— Вам известна эта личность? — обратился он с улыбкой к Наде и оскалил под рыжими редкими усиками ряд уродливых полугнилых зубов. Синие глазки замаслились, сощурились, расплылся еще шире широкий рыхлый нос... Все лицо резко изменилось от этой улыбки, стало хищным и жестоким, как у коршуна.

— Да это же соседка, Пелагея Львовна, — тихо ответила Надя. Сказала и *так* посмотрела офицеру в глаза, что он перестал улыбаться.

— А зачем она к вам шляется... эт... та соседочка?..

— Не знаю, спросите, видно, дело есть.

— Дело?.. Гм..., — Он фронтально покрутил усы, закинул голову, спросил: — А как вы думаете, что у нее может быть за дело?

— Так я же тебе, ваше благородие, говорила, что курица у меня... хохлушка, — взмолилась было Пелагея Львовна.

Офицер крикнул:

— Ты замолчишь, карга? Кого я спрашиваю?!

Пелагея Львовна пригнулась, пропала в платок.

— Ну? — уставился он на Надю.

— Не знаю...

— Так, гм... так... не знаете?

И снова покрутил тараканьи усики.

— Ну, ладно, не злой я человек. Иди, старуха, да больше чтобы куры у тебя через забор не летали, слышишь?

— Слышу, батюшка, слышу, все поняла... все... родимый, все, — приговаривала на ходу Пелагея Львовна, торопясь к двери, боясь, как бы не задержали снова.

— Протокол готов? — обратился офицер к папахе.

— Так точно! — подал тот исписанную бумагу.

— Все проверили?

— Так точно и очень внимательно.

— И у них? — скосил офицер на Надю прищуренные масленые глазки.

— И у них, так точно...

— Впрочем, я сам еще проверю!

Встал, гнило улыбнулся и направился к Наде в комнату.

— Останьтесь здесь, я один, — обернулся он к сыщикам, которые поднялись было вслед за ним.

И Надя хотела остаться, но как же это... Как пустить его одного в эту комнату, как ему все доверить?

«А впрочем, не все ли равно, буду я или нет? Он же все сделает, что хочет. Ну, что я могу сказать ему?»

— Папа, укажи ты, — обратилась она к отцу.

Старик вдруг встрепенулся, хлопотливо залопотал:

— Да, да... я сейчас... я все покажу... А ты тут... а ты тут...

— Нет, вы сидите, — повернулся офицер. — Я хочу с самой хозяйкой... Вы сама мне все будете показывать... Сама... А папа потом...

— Да не хочу я! — крикнула Надя.

— Это как «не хочу»? — взглянул на нее офицер.

— Не хочу! Не стану я, вот что! Не стану, не стану!!

— Надя... Нельзя этого, — вмешался Павел. —

Нельзя... Сейчас ты обязана, раз тебе говорят... Понимаешь?.. Ну, успокойся, что ты?

Было так тяжело от своей круглой беспомощности, так было обидно, что одну минуту Надя едва не разрыдалась, но вдруг, не сказав ни слова, она быстро вперед офицера прошла в свою комнату.

— Что вам нужно? — спросила, и голос задрожал угрозой. — Что вам еще нужно? Они же искали... Все вывернуто... Чего еще?

— А вот, значит, надо, — с деланым спокойствием отвечал офицер, наклоняясь к рассыпанным, не убранным с пола бумажкам. — Переписка? Изволили переписываться?

— Видите...

Он взял одну, другую, третью записки, пробежал глазами, положил на стол...

— Вы учитесь? — спросил вкрадчивым, сладеньким голосом.

— Учусь...

— Где?

— В гимназии...

— Так-с... Это отлично... это очень даже отлично... Только вы, можно сказать, совершенно напрасно со мной такие резкости! Зачем они? И за что они? Разве я хоть сколько-нибудь виноват? Ну, подумайте: я офицер, мне приказали, да как же это я могу ослушаться? И что тут особенного, если даже и обыск... Вот посмотрим — ну, нет ничего, и слава богу, так и пройдет. А что тут сердиться?

Исподлобья он посмотрел Наде в лицо. Она молчала, плотно стиснув зубы.

— Все в порядке вещей, — продолжал офицер, рассматривая письма и книги, — все в порядке... Сегодня к вам назначили, завтра ко мне — и нет тут ничего обидного... А в этом ящике что изволите хранить? — И он показал на тот ящик, куда Надя второпях собрала свои записные книжечки, полагая, что обыск не повторится.

— Не откажите показать, — из ряда вон любезничал офицер, подбирая самые мягкие, вежливые слова.

— Так берите, что ж я могу? — беспомощно ответила Надя.

Он достал одну, другую тетрадку, стал читать. Перестал любезничать, раза два чуть заметно улыбнулся.

— Да... да... Гм... Вот оно что... По литературе, говорите? — и насмешливо посмотрел Наде в лицо. — А я вижу, что *плохая* это литература... за такую литературу в тюрьму сажают...

— Про что вы? — спросила Надя, стараясь придать наивность и невинность своему вопросу.

— А вот про то, что литература тут у вас... Пушкин, видите ли, Гончаров и... и Ленин еще... Вот что...

— А, знаю, знаю, — хотела слукавить Надя. — Это я на улице... что-то слышала, проходила и слышала... Меня очень заинтересовало, я пришла и записала...

— Так... ну, и сколько это раз вы *случайно* на такие разговоры наталкивались?.. Тут вот что ни страница — все об одном... а?

— Да несколько раз.

— Ах, несколько раз, вот вы счастливая какая: как ни пойдете — все на разговор?.. И тут вот я вижу, что «К» сказал так, а «Ч» сказал вот так. Это, значит, как же? Это что же за «К», «Ч», кто они такие, знакомые ваши?

— Нет... — Надя замялась, не зная, что говорить. — Они не знакомые, а так... я просто взяла для удобства... одного одной буквой обозначила, другого другой... для удобства.

Офицер неожиданно поднялся с пола и, делано вытянувшись во весь рост, сквозь зубы процедил:

— Вы знаете, что я нашел?

И остановился выжидательно. Надя стояла молча.

Тогда отчеканил медленно, слово за словом:

— То, что изо дня в день появляется в листовках! Да-с, в подпольных листовках... Что негодяи эти вешают по заборам-с! За что мы их ловим!.. Ловим и... расстре-ли-ваем!!! Поняли вы?

Надя, дрожащая, неподвижно стояла перед офицером.

— Я... я... не знаю этого, — пролепетала она.

— Вы очень хорошо знаете! — отрезал офицер. — И не притворяйтесь ребенком, я играть с вами не намерен! Вам грозит, знаете, не тюрьма — тюрьма что, тюрьмы мало, — вам грозит, как и *этим*... расстрел... Да-с: о...кон...чатель...ный рас...с...стреллл!!

И, быстро подступив вплотную, схватил Надю за руку. Она, как загипнотизированная, даже и руки не отдернула, не могла всего сообразить...

— Я... что же я... — прошептали белые губы. Она сама не понимала, что говорит. Захолонуло, упало все, оборвалось внутри. Рассыпались мысли, занемел язык, только дрожало что-то в гортани.

— И я еще говорю, — продолжал офицер все тем же задыхающимся, чуть слышным шепотом, — вы у меня в руках! Я волен сделать с вами, что захочу: и скрыть могу и предать могу... Так слушайте: я вам оставлю жизнь, я сохраню... я ничего не скажу о том, что здесь нашел, жизнь спасу... но... но... вы будете моей... Ну?!

Одно мгновенье в глубоком молчанье ждал он ответа.

Она, казалось, не поняла того, что услышала. И офицер, оставив Надину руку, охватил вдруг талию, потянулся губами к губам...

Вмиг она все поняла. Рванулась прочь, отскочила, как кошка, и, нервно взмахнув рукой, ударила звонко офицера по лицу.

— Мерзавец! — крикнула ему и кинулась опрометью вон из комнаты. Добежала до постели и в рыданьях упала ничком, тряслась всем телом от нервной дрожи...

Не понимая в чем дело, Петр Ильич со старухой, да и Павел предположили, что она волнений сегодняшнего дня просто уж не могла больше вынести и разнервничалась. Они побежали сейчас же за водой, за полотенцем. Начали успокаивать.

Дверь растворилась — с искривленным от злобы, с раскрасневшимся лицом появился офицер.

— Увезите эту девицу в подвал! — скомандовал он солдатам. — Документы я все захвачу сам... Марш!..

Поднялась суматоха: Надя продолжала всхлипывать и дрожала всем телом; Анне Евлампьевне сделалось дурно, она повалилась на руки стоявшего Петра Ильича, да и сам старик еле держался на ногах, без кровинки в лице, потерявший остатки мыслей, оробевший до последней степени, он только приговаривал:

— Господи... господи... Что это?.. господи!

А Павел, бледный, как бумага, уговаривал сыщиков:

— Да подождите... хоть очнуться дайте... Куда она уйдет... Это бессердечно...

— Ну, живо! — скомандовал офицер, и беззубый с цыганом подхватили под руки бесчувственную Надю, поволокли на улицу.

— На моей отвези, потом приедешь! — крикнул офицер вслед.

Надю посадили в пролетку, увезли.

В доме Кудрявцевых эту ночь не спал никто. Анна Евлампьевна не вставала; она все время была в полузабытьи, Петр Ильич стонал и плакал около старухи. Павел ходил молчаливо и угрюмо. Так бывает, когда в доме покойник. Ужас охватил всех. Старики растерялись, стали беспомощны, как малые дети, вздрагивали при каждом шорохе.

Глубокая ночь. Тишина. Павел пройдет среди разбросанных по полу вещей из «приданого» стариков. Или заплачет нервно сквозь дремоту Анна Евлампьевна. Или вдруг вздохнет глубоко, застонет Петр Ильич и заголосит:

— Господи, господи, что это?

Надю отвезли в подвал епархиального училища. Здесь подвалы считались самыми надежными, охраняли их юнкера. Народу было набито там видимо-невидимо. Сначала мужчин и женщин сажали в разные камеры, а когда оказалось, что места все «заняты», гнали гуртом, не разбирая, кто куда попадет. В такую общую камеру загнали и Надю. Ее под руки свели по ступенькам — стоять она все еще не могла. И как только подвели к дверям, — втолкнули, а цыган крикнул заключенным:

— Эй, шпана, товарищи!.. Вот вам еще девку!..

И захохотал.

Никто ему не ответил — заключенные молчали. Они с любопытством разглядывали нового товарища и, когда узнали, что Надя нездорова, отвели ее в дальний угол, подняли двух, лежавших врастяжку, и на их место бережно ее уложили.

— Воды бы ей надо дать, — сказал кто-то.

— Не дадут...

— Как не дадут? Потребовать!

— Пожалуй, требуй — не дадут все равно...

— Попробуем!..

И говоривший, подойдя к двери, тихо постучал Ему никто не ответил. Он громче — молчание. Тогда изо всей

силы начал он молотить по двери кулаком. Послышался хриплый окрик:

— Что стучишь, сволочь?

— Воды надо дать, тут больная...

— Иди к...

— Дай воды, говорю! — приставал заключенный.

— Дай воды, дай воды!! — кричали еще три — четыре человека, и, приблизившись к двери, все забарабанили кулаками.

— Перестань... сволочь!! — закричал охранник за дверью.

— Дай воды!!!

И вдруг грянул выстрел...

Пуля пробила дверь чуть выше голов их.

— Сволочь!! — рычал рассвирепевший охранник. — Я дам бунтовать!! Успокою!.. Под...длецы!!

Но заключенные не думали успокоиться. Поднялся невообразимый крик, протесты, брань, проклятья. За дверью на выстрел, видимо, прибежал кто-то из начальства.

— В чем дело? — спросили там.

— Воды сюда!.. И воспретить стрелять!!

Воды скоро принесли, и тот самый, что первый начал барабанить в дверь, подносил Наде доверху наполненную кружку.

Она уже сидела на полу: крики, а главное — выстрел, привели ее в себя.

— Что это было?

Ей объяснили:

— Воды не дают... Вам воды надо было дать... плохо себя чувствовали... а они не дают...

— А стрелял кто же?

— Это оттуда... из-за двери... чтобы не просили...

— И все это... из-за меня? — спрашивала и недоумевала Надя. Смотрела на этого вот смуглого рябого соседа, что поднес ей воду, и думала:

«Кто же он? Ну, и что ему я, совсем чужая? А жизнью ведь рисковал... могли убить... И что это они какие все тут дружные... А меня, как родную... даже место освободили... Положили... И воды принесли...»

С одного лица на другое переводила Надя восторженный, изумленный взгляд, и казалось ей, что лица эти какие-то особенные, что и смотрят они по-особенному и

говорят... Это совсем-совсем другие, новые люди... Таких она не знала. Вот разве Климов один... Да, он, пожалуй, очень будет похож на них.

И, прижавшись к стене, глотнула два — три раза из кружки, потом ее оставила, задумалась... Мысли скакали неопределенные, она ни на чем не могла остановиться. Не было ни тяжести, ни страха — только удручало воспоминание о стариках... Она в этой новой среде и совершенно новой обстановке чувствовала себя удивительно легко и понимала, что даром в жизни ей это испытание не пройдет, что отныне начинается для нее какая-то новая жизненная полоса, — надолго она или не надолго, не знает, но этот день рассекает гранью на две половины всю Надину жизнь... И замирало сердце в ожидании желанных поступков и дел, совсем, совсем не похожих на те, что окружали ее до сих пор... Это будут новые *дела*, продолжение тех новых *слов*, которые впервые она услышала от Виктора. Где он теперь? И что с ним будет, когда придет и от стариков узнает, что Надю увезли... «Он, может быть, пойдет разыскивать? И его, может быть, допустят сюда... Мы увидимся... Нет, нет, как же это, разве сюда можно кого допустить?»

— Кудрявцева! — вызвал кто-то через дверь.

Надя замерла, не могла понять, кто бы это мог окликать и звать ее здесь, в подвале...

— Здесь Кудрявцева? — спросили снова.

— Я здесь, — отозвалась Надя.

— Выходи. Пойдешь на допрос.

Надю привели наверх, и какой-то незнакомый человек, развалившись за столом в полутемной закуренной комнате, задавал ей массу всяких вопросов.

— Фамилия?

Она говорила.

— Имя, отчество?

Говорила.

— Где живете, чем занимаетесь, чем родители занимались, что делали до 1917 и после, была ли судима и за что, к какой принадлежите партии, кому сочувствуете, как очутились в комнате записки о большевиках, кто такие «К» и «Ч» и т. д. и т. д.

Надя говорила ему так же, как офицеру, что запи-

сала в книжку лишь то, что слышала на улице, а про Виктора и Чудрова не обмолвилась ни единым словом.

Только на прямой и так изумивший вопрос: знает ли она Климова? — Надя ответила, что знает, и рассказала, как познакомилась и как потом несколько раз случайно они встречались на улице за это последнее время. Пока говорила, допрашивавший записывал ее показания, а когда закончил допрос, дал Наде прочитать, заставил ее подо всем этим подписаться. И когда уже Надю увели обратно в подвал, из-за ширмы вышел офицер, что делал обыск: он во время допроса был спрятан там и хотел проверить, то ли будет показывать Надя, что она говорила ему у себя в комнате. Потом он еще опасался, что сгоряча она в его присутствии может рассказать про пощечину, а этого срама опасался он паче всего и потому предпочел высидеть за ширмой добрых полтора часа.

— То же врет, сволочь, что и врала, — вяло уронил он следователю.

— Пощупаем, авось раскроется, — усмехнулся тот грязной усмешкой.

— Девочка, скажу вам, н-ну! — И офицер причмокнул, приложив палец к губам.

— Разделяю... сострадательно р...р...разделяю: товарец хоть куда! — подмигнул, подымаясь, следователь.

Побрякивая шпорами, они вышли в коридор.

Уже поздно вечером в камеру втолкнули еще троих незнакомцев. Надя узнала из разговоров, что кто-то и где-то «провалился», что стоял в городе совсем готовый штаб Красной гвардии и весь город разбит был на участки. Что-то неладное случилось в какой-то подпольной типографии, и тот, которого арестовали в типографии, будто оказался слаб на выдержку, не перенес испытаний и выдал некоторых из своих товарищей... В этом новом мире, среди новых людей, она чувствовала себя, как малый ребенок.

«Они все, — думала Надя, — что-то там делали, к чему-то готовились... У каждого была своя большая забота и каждый ее утолял, работал, рисковал, а я — я что сделала?»

И ей становилось совестно за то, что ничего она до сих пор не сделала, что только слушала хорошие слова, но к делу — к делу все еще не приступала...

Наутро вызвали из камеры шесть человек, куда-то увели. Больше они не возвращались. Потом еще... А вечером отобрали партию человек в двенадцать: сделали перекличку и одного за другим пропустили сквозь строй солдат, стоявших в коридоре... Надя сначала не поняла, отчего они уходят так глубоко тревожные и опечаленные, отчего им так крепко на прощание пожимают руки, даже обнимают, иные целуют крепко-крепко — так целуют только в дальнюю разлуку...

Прощались и с ней, и она пожимала руку.

— В расход!

Только теперь узнала она, что означает это страшное слово «в расход».

И когда пожимала руку уходящему, словно отрывался вместе с ним кусочек ее собственного сердца.

К вечеру этого дня движение по коридору как-то особенно оживилось, — оно не прекращалось всю ночь — одних уводили, других приводили, — и все это наспех, чуть не бегом, только слышался топот по каменному коридору да грубые, похабные окрики. Не улеглось движение и поутру: беготня по коридору не прерывалась. Между заключенными пронесся слух, что в городе неладное, что белым, пожалуй, скоро отступать. Вслушивались в орудийные раскаты, и казалось, что ближе они, совсем-совсем близко. Всех захватили нервные предчувствия и ожидания: Метались по камере взад и вперед, друг на друга натыкались, даже сердились, даже бранились, — нервность чем дальше, тем становилась острей. Теперь одно: или, отступая, всех заключенных белые расстреляют, или не успеют, не успеют... Ах, может быть, не успеют... Может быть, в городе восстание и восставшие сразу освободят тюрьму?!

А раскаты орудийные все ближе, все слышней. Нет сил терпеть... Вставали один другому на плечи, тянулись к крошечному окошечку, но что же можно было увидеть на воле из такого чуточного квадратика в стекле?

— Что там видно, что там?

— Ничего... часовой...

И снова начинали ходить взад-вперед, метаться, как звери по клетке. Надя едва ли не спокойнее всех переносила свое заключение и эти последние, решительные часы. Она не предполагала и десятой доли того, что ей

грозило в эти последние часы... На ее счастье, того офицера сегодня поутру куда-то услали из города, помнить про Надю было некому.

— Артиллерия уходит, — сказал кто-то.

Примолкли. Вслушивались в лязганье, грохот и визг. Сердце переполнялось радостью или вдруг защемлялось смертельной болью.

«Жить или не жить?.. Жить или не жить?» — мучил близкий страшный вопрос.

Вот к дверям подошли, звеня оружием, юнкера и офицеры.

— Выходи по списку!!!

«Ох, этот список!!! Роковой, последний список! Есть ли там мое имя? Есть или нет? Есть? Нет?» — каждый задавал себе мучительный вопрос.

— Горчак, Бялик, Аступченко, Пащук, Пархоменко, Бондарчук...

Перечислили до последнего — в списке не было Нади Кудрявцевой. В камере осталось восемь человек...

— Прощайте, товарищи, счастливый путь!

— Да, теперь совсем, совсем счастливый...

Серьезные, молчаливые, пожимали руку оставшимся, один за другим пропадали из камеры...

VI. Развязка

В городе нервность росла с каждым часом. Город путался в тенетах слухов. Все говорили, что близко большевики. Кому надо, готовились к отъезду. В раде то и дело страстные прения: уходить или нет, уходить или нет, когда Красная Армия подойдет вплотную? Станичники-делегаты проще решили: смотали узелки и айда по станицам! Осталась в раде только махровая макушка, она порешила уходить с добровольцами.

События развивались с головокружительной быстротой. Уже как-то ранним утром, в двадцатых числах февраля, донеслись издалека первые тяжкие вздохи орудий. Город всполошился.

Город стал неузнаваем: засеменил, заторопился, пропал в испуганной суете.

Кому невтерпеж, укладывался заблаговременно, подобру-поздорову выбирался из города.

Рада уверяла:

— Господа... господа... мы уйдем, господа, но всего лишь на несколько дней, а там клянемся поднять, взбудоражить Кубань, ополчить ее на «большевистские банды». Не будет Кубань порабощенной! Не будет, не будет Кубань большевистской!!

Так уверяла рада.

Все ближе, отчетливей орудийная стрельба; все меньше надежды, что город удержится...

И вот в последнюю февральскую, в первую мартовскую ночь по городу заскакали верховые, затарахтели авто, промчались бешено мотоциклетки... Потом грузно, надсадисто поползла артиллерия, и было похоже, что везут не орудия, а каких-то гигантских покойников. И странно было видеть среди этой мрачно отступавшей процессии то здесь, то там порхающие легкие колясочки, а в колясочках разодетых дам... Они попискивали и повизгивали, протестовали и негодовали, что не дают им свободно, быстро проехать, грозили жаловаться знатным своим мужьям. Это отступали жены полковничьи и генеральские, — охраной им была артиллерия. Позади, замыкая шествие, эскадрон за эскадроном колыхались казацкие полки и видом были мрачны, зловеще-угрюмы, как эта черная похоронная ночь. Из окон домов, из приоткрытых ворот и калиток выглядывали проснувшиеся любопытствующие жители: смотрели с изумлением и новой тревогой на это внезапное полуночное движение, понимая, что происходит что-то важное и окончательное, что оно ведет за собой и новые страхи-тревоги и новые испытания.

А похоронная процессия шла и шла, ушла за окраины, за последние городские домики, доползла к Энемскому мосту. И вдруг совсем где-то близко забарабанила пулеметная дробь: та... та... та... У Энемского моста забесилась суматоха: красные наступали.

Сбились в кучу повозки, коляски, от страха обезумевшие люди, растерянные кони, мост в минуту был забит, как пробкой закупорен. Но шашка с нагайкой сделали свое: через десять минут по расчищенному пути отступали на Шенджий казачьи эскадроны... Город пустел с одного конца, а с другого входили красноармейцы...

Происходил какой-то таинственный процесс. Город обновлялся, наливался неведомой новой жизнью. Хмуро,

сердито стояли опустевшие дома главных улиц: у распахнутых дверей валялась битая посуда, поломанная мебель, солома, бумага, рогожи, веревки, осколки от ящиков и сундуков: здесь только недавно спешно что-то собирали, куда-то увозили, дом-сироту оставляли пустым и одиноким... Смотрел он, а с ним другой и третий — вся эта недавно столь шумная, богатая, расцвеченная улица, — смотрели недоуменно на новых пришельцев. Сердито смотрели пустые бездушные окна, длинные коридоры, настежь распахнутые двери, раскрытые погреба и чуланы.

Пахло плесенью, смертью. Было невыносимо тошно, словно только-только через эти распахнутые двери и окна повытаскивали покойников, оставили комнаты неубранными, а добро хозяйское растащили...

Не было видно лица человеческого, не слышно было живой речи: где-где забился человек и, как затравленный зверь, выглядывает робко из-за угла и ожидает заслуженной и неизбежной кары. Или к воротам выползет старушка — держит на тарелке хлеб-соль, будто рада-радешенька новым гостям. Стоит и дрожит, как старая высохшая тряпица на буйном ветру: ее, старую, выслали одну, а сами домашние попрятались, скрылись, разбежались.

— Тебя, бабка, не тронут, ты стара!!

И долго стоит одна, с вытянутыми руками, с простертым кому-то хлебом-солью. Но мимо, мимо мчатся люди, не видят они старушку — не до нее, не нужна никому.

Уж расползлась, пропала ночная темень, — вырастало теплое солнечное мартовское утро... Веселые, словно подновленные в ранних лучах, глядели настежь открытыми глазами избушки рабочих окраин. Поднялись и стар и млад, высыпали на улицу, знать не знали и знать не хотели, где тут главные начальники, где рядовые бойцы: кидались навстречу вступавшим товарищам, хватали за руки, бросались на шею, целовали их, незнакомых, вкрапливались синими рабочими блузами в зеленый лес красноармейских гимнастерок и шли вместе с ними, дружно гуторили, быстро-быстро на ходу торопились рассказать, что важно, что нужно знать, а потом про свою жизнь, про свои мучения, про долгое ожидание, про радостную встречу. И в распахнутые окна, и

с крыш, и с заборов — отовсюду неслись приветствия проходившим крепкой, четкой поступью красноармейским полкам. Перед окнами на высоких, бог весть откуда добытых шестах мотались красные флажки — и новые и старые, грязные и разодранные, часто клочок головного платка, потрепанной девичьей юбки. И на груди прицеплены красные ленточки — даже раздобыли их мальчишки, что вот бесенятами снуют теперь и вывертываются стремглав по рядам проходящих, по толпам и кучкам стоящих у окон жителей. Где-то в стороне, взгромоздившись на ящик, что есть мочи кричал рабочий:

— Да здравствует Красная Армия!!!

И по улицам и переулкам, близкие заражая дальних, — выносили и ревели толпы стоявших бурное:

— Ура!.. ура!.. ура!..

— Да здравствуют красные артиллеристы!!!

И ухнул новый взрыв нескончаемых криков-приветствий, незаметно объединившихся в *священный* гимн:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!..

Охватила песня от стара до мала — и с крыш и из подвалов пели ее молодые, задорно-звонкие, пели хриплые, старые, а там чуть слышные, почти детские голоса. Полки зычным ревом подхватили гимн и грянули вместе с рабочими.

Ударила музыка, зарыдали, застонали и полились все дальше, глубже и звуки и слова удивительной мелодии...

Вот верхом на коне навстречу вступавшим войскам выносится Паценко. Он машет на скаку красным платком, что-то кричит захлебывающимся голосом. Но не понять, не разобрать его слов, — только по блеснувшим в глазах слезинкам видишь, как потрясен и как он хочет передать свой восторг, бурную радость этим мученикам и героям, что так вот — спокойно, шаг за шагом, рота за ротой идут в сердце освобожденного города...

Новые и новые, новые роты и батальоны... Гуще красная рать, выше радость, горячей пламенные речи.

Вечерние сумерки проглотили и стены и лица человеческие: черная тьма в глухой и тихой камере. За дверью не слышно ни беготни, ни окриков, ни брани. Могильная, глухая тишь. Только где-то в отдалении чуть слышно странное движение: шумит, нарастает, спадает, шумит непрерывно, как волны далекой горной реки. Но это не в коридоре, это где-то дальше, может быть, во дворе... Тюрьма притихла.

Зато на улице движение с каждой минутой все торопливей. Визг, свист, фырканье коней, скрежет машин... Улица бурно непокойна. Что это с нею сегодня, в эту черную-черную ночь?

И заключенные тихо меж собой переговаривались, недоумевая, и радуясь, и опасаясь, не зная, откуда этот полуночный шум и что несет с собой для них — пленников подвала. Вот как будто тише... Примолкла улица. Но не надолго. Откуда-то издалека уже доносились новые звуки: это пела масса...

— Товарищи! — крикнул кто-то.— Поют... там поют... Что это? Откуда?

Все вскочили с полу — и к дверям. Крепка тюремная дверь: не отомкнется. Примолкли. И тихо-тихо запели гимн. А там, за окнами тюрьмы, поют; и ближе, все ближе волны песен. Уже нет сомненья: огромная толпа подходит к каземату... Вот они сгрудились, кричат. Вот вбегают во двор... Ахнул резко выстрел, вздрогнула камера... Мчатся по коридору... Вот уж у самых дверей топот, крики... Вот и дверь сорвали с петель...

— Живы ли? — крикнул из коридора чей-то знакомый голос.

И, потрясенная, крикнула камера одно только заветное:

— Товарищи!!

Надя выскочила в коридор: около пылающего факела стоял Виктор. Она кинулась к нему и не могла в волнении выговорить ни слова.

— Здравствуй, здравствуй, Надя! — пожимал ей кто-то руку.

Оглянулась: Чудров.

Это он встретил Виктора, когда тот с батальоном вступал в город, и вместе они кинулись к местам заключения.

За воротами ждала огромная толпа рабочих.

— Ура!.. ура!.. — загремело со всех сторон, лишь только они при свете факела вышли на волю.

— Да здравствуют освобожденные товарищи! — крикнул Чудров.

И новыми криками всколыхнулась ночная тишина.

При свете факелов со знаменами шли по городу толпы рабочих, а тишь прорезали стальные слова:

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе!

Сумерки бледнели. Занималась заря.

1923

ПИЛЮГИНСКИЙ БОЙ

I. Выступление

Мы выступили из с. Архангельского рано поутру, когда еще солнце не согрело землю, когда еще пахло на лугу ночной сыростью. Один за другим выходили в широкое поле наши красные полки, выстраивались и молча двигались по направлению к высокому сырту, заслонявшему ближайшие деревни. Во все стороны раскинулись передовые группы, далеко вперед умчалась конная разведка. Слева была слышна артиллерийская стрельба — откуда-то издалека, за рекою Кинель. Там должны продвигаться части нашей бригады, имеющей задачу обойти неприятеля с тылу и ударить на него в тот момент, когда мы ударим в лоб. Этим маневром мы надеялись создать панику во вражьем стане и, пользуясь замешательством, отнять у него орудия, стоящие в Пилюгине. Мы остановились, прислушались — пальба была редкая, неторопливая; ясно было, что это еще не бой, а только нащупывание.

Мы выехали на косогор. Внизу была деревушка Скобелево, откуда мы должны вести наступление. Навстречу выехала передовая разведка и сообщила, что Скобелево пусто и оставлено неприятелем накануне вечером. Вошли в деревню. Там около хат жались крестьяне и робко посматривали на проходящие части.

— Сегодня белые, завтра красные, потом опять белые и опять красные — краю не видим, устали, замо-

тались мы, — говорили крестьяне. — И хлеб-то у нас поели, и скотину-то забрали, обездолили нас кругом. Тут, известно, жаловаться не на кого, только уж очень трудно нам. И когда она покончится, эта самая война? Чай, пора бы и отдохнуть!..

В это время в деревню вошли новые полки и направились через мост в поле. До Пилюгина, где засел неприятель, было верст семь; оттуда, видно, заметили продвижение наших частей и открыли артиллерийский огонь. Выходившие полки рассыпались по лугу, развертывались цепями и шли вперед. Огонь усиливался. Мы вошли в избу и спросили у хозяйки молока. Больная перепуганная женщина ласково и любовно разговаривала с нашими красноармейцами, принесла им воды, хлеба, рассказывала, как страшно ей было вчера, когда отсюда выбивали белых.

Из окна видно было, как в поле, саженях в двухстах пятидесяти — трехстах, рвались снаряды, как здесь и там вдруг появлялись черные дымки. Неприятель бил по цепи. Я вышел из хаты, прошел на гору и лег на откосе. Мы оставались здесь, поджидая артиллерию.

II. В цепи

Она вскоре пришла, и начальник дивизии указал ей, куда надо следовать. Батарея по лощине двинулась на работу, лошади с трудом тянули тяжелые орудия Мы видели, как батареи остановились сзади цепей, как мелькнул первый огонь. Ббб... бах... бб... бах! — загромыхали наши орудия. Цепи, услышав свою артиллерию, ободрились и пошли веселее... Мы сели на коней и выехали на гору; оттуда Пилюгино видно было как на ладони; прямой дорогой к нему было версты три — четыре. Потом разъехались в разные стороны и направились к цепям.

Стрельба утихла. Поле здесь засеяно подсолнухами, и мы с трудом пробирались между здоровых колючих стволов, пока, наконец, добрались до передней цепи. Прилегли. В раскинувшейся полукругом цепи было гробовое молчание; все лежали ничком и старались не смотреть друг на друга. По левую и правую сторону от

меня лежали молодые ребята годов по двадцати, Сизов и Климов, как я узнал потом. Они тоже молчали, как и все.

— Перебежка, бегом! — раздалась команда. Мы вскочили и побежали вперед. — Ложись! — раздалась новая команда, когда мы отбежали шагов тридцать. Все легли. И снова глубокое молчание. И о чем только не передумал я в эти минуты, лежа в цепи!

Перебежки учащались. Настроение поднималось: захватывало дух от ожидания близкого боя. Мы торопились, чтобы не упустить неприятельские обозы, черной лентой тянувшиеся по горе. По слухам, у неприятеля в Пилюгине было семь орудий и около пятнадцати пулеметов. Но в бою было только два орудия, а остальные, повидимому, он убрал заблаговременно. Ясно было, что из Пилюгина началось отступление, и следовало торопиться с атакой. До Пилюгина оставалось версты полторы. Наши цепи сгрудились и полукругом подходили к селению. Неприятель открыл учащенный артиллерийский обстрел — этим приемом он думал, вероятно, усыпить наше внимание относительно своего отступления. Разведку тоже обстреляли, и она залегла по склону оврага.

В это время я увидел знакомые каски с огромными красными звездами — это наши иваново-вознесенцы. Все знакомые, дорогие лица, все наши рабочие. Они шли по болоту из-за горы и наступали с крайнего левого фланга. Меня окликнули сразу несколько человек — узнали, обрадовались. Так вот где нам удалось увидеться — в бою, в самую последнюю, решительную минуту. За последнее время я совсем потерял из виду своих земляков, то и дело переезжая из конца в конец по уральским степям.

До овинов осталось уже всего сто десять — сто двадцать сажен. Каждую минуту можно было ждать пулеметного и оружейного огня. Откуда-то справа раздалось два залпа и застрочил пулемет. Это наши правофланговые части вызывали неприятеля на ответ, но ответа не было. Можно было предполагать, что селение очищено, но, зная казацкую тактику, мы подозревали здесь засаду и обман. Цепи подходили осторожно.

Вот мелькнула вдали женская фигура, и мы направились осторожно к ней.

III. Вступление

Женщина-крестьянка стояла у погреба и в упор смотрела на нас странным, немигающим взором.

— Белые здесь али ушли?

— Ушли, убежали, родной.

Мы въехали в деревню.

— Здравствуйте, товарищи, — крикнул стоявшим на углу крестьянам.

— Здравствуй, здравствуй, товарищ, — сняли они шапки. — Насилу-то дождались.

Гурьбой тронулись все мы на середину деревни, дружно загуторили и подошли к кучке пленных, добровольно оставшихся в деревне.

— Вы что, ребята, пленные?

— Так точно, пленные.

— Мобилизованы, что ли?

— Так точно, мобилизованы.

— Откуда?

— Из Акмолинской области.

— Сколько вас тут?

— Да вот человек тридцать выползли, а то еще по овинам да халупам сидит человек семьдесят.

— А где у вас оружие?

— Оружие вот тут сложили, — они указали на проулок, где лежали сложенные в кучу винтовки и патронташи.

Все они были одеты по-домашнему — кто в армяке, кто в шубе, а кто в худом пальтишке. Обуты скверно, некоторые в валенках. Подошли наши красноармейцы, и им было поручено охранять пленных, препроводив их в штаб дивизии.

IV. По следам

Пилюгино расположено под горой. Гора крутая и обрывистая. Перебросившись через мост, мы с трудом взобрались на вершину. Там, спешившись, стояло человек шестьдесят наших кавалеристов. Вскоре сорок поскакало к опушке, а остальные, спустившись вниз оврагами, пошли в разведку с другой стороны. Нам было видно, как они проскакали уже с версту и начали было

выезжать наверх по склону, но в это время были замечены неприятелем и жестоко обстреляны ружейным огнем. Они остановились, потом спустились ниже и скрылись за кустами.

А на гору уже приехали пулеметчики. Вдали, колыхаясь, уходила неприятельская цепь.

Каждую минуту мы ожидали, что два полка, которые должны были идти с крайнего левого фланга, отрежут неприятелю путь. Но этого не случилось: тут произошла некоторая ошибка, за которую виновные были своевременно арестованы. Прождав еще с полчаса, медленно следуя по пятам за отступающим неприятелем, мы, наконец, убедились, что в тылу у неприятеля наших частей совершенно нет, что захватить людей, орудия и обоз не придется, так как конница наша слишком малочисленна, а пехота ввиду крайней усталости не может преследовать с должной быстротой и настойчивостью. Пришлось возвращаться в деревню.

V. После боя

Деревня ожила. Все халупы позаняли красноармейцы. Многое множество не уместилось и осталось прямо на воле, примостившись на площади у обозов. Сейчас же открыли работу штаб бригады и оперативный отдел дивизии, который ездит с нами неразлучно. Заработали телефонисты и моментально протянули кабель; поставили у нас на штабной квартире аппарат. Скоро согрели самовар. Все расположились на отдых.

Вдруг раздался громовой удар, за ним другой. Что за черт! Мы в недоумении выскочили из-за стола. Вероятно, бомбу кто уронил. Нет, это не бомба. Но откуда же могут стрелять? В это время раздался ружейный выстрел, за ним другой, третий... Поднялась отчаянная, беспорядочная стрельба. Красноармейцы сидели кучками возле фургонов, — повыскакивали и кинулись в разные стороны; площадь живо опустела. У себя над головой мы увидели неприятельский аэроплан. Ровно и тихо, словно белый лебедь, уплывает в голубую даль. Оба взрыва произошли в барском саду, где не было ни одного красноармейца. Скоро все снова успокоились.

А завтра, чуть подымется солнце, мы снова в поход.

1919

УФИМСКИЙ БОЙ

На нашу дивизию была возложена задача взять Уфу. Задача нелегкая, ибо, как известно, Уфа стоит за широкой и бурливой рекой Белой, стоит на высоком берегу, откуда нас можно было крыть артиллерийским огнем на все стороны. Через Белую есть огромный железнодорожный мост, но по этому мосту переправа была невозможна: с одной стороны, мешал артиллерийский огонь, а с другой, задерживало предположение, что мост минировали. В предположении этом мы не ошиблись, мост был взорван, и один его пролет совершенно погиб в огне. Надо было действовать не прямым ударом, а как-то по-иному.

Верстах в двадцати к северу от Уфы стоит селение Красный Яр. Против этого селения река делает выгиб и образует петлю. Эту петлю мы и использовали для операций. Сюда были стянуты главные силы дивизии, и им дана была боевая задача переправиться ночью на другой берег реки и ударить сразу по двум направлениям, чтобы отнять у неприятеля возможность сосредоточиться где-либо в одном пункте для стремительного контрудара. Другая часть дивизии расположилась у моста и имела целью здесь прорваться в город. В ночь с седьмого на восьмое полки у Красного Яра тихо переправились на другой берег и стали выравниваться для дальнейшего движения. Переправилась артиллерия, переправились броневики. Неприятель заметил движение наших частей и открыл жестокий огонь. На один из наших полков (Иваново-Вознесенский) накинулись разом пять неприятельских полков, но, дружные и могучие, кинулись

наши герои в штыковую атаку, сбили и угнали неприятеля далеко вперед.

Сам командующий армией, т. Фрунзе, с винтовкой в руках мчался в передней цепи и до невероятности, до энтузиазма поднял дух и без того закаленных бойцов. В этом бою он был слегка контужен.

А у моста в это время гремела отчаянная канонада. Пристрелявшийся неприятель, словно руками, клал снаряды на самые шпалы. Здесь пытался было работать специальный батальон, хотел расчистить путь к мосту и оттащить оттуда десять вагонов со щебнем и мусором, но огонь был настолько меток, пулеметы работали так крепко, что отряду пришлось отойти назад.

Здесь у моста два дня и две ночи с небольшими промежутками длилась артиллерийская канонада. Наши цепи лежали на берегу, готовые каждую минуту кинуться хотя вплавь, лишь только подойдут ближе наши части с левого фланга.

Неприятель ждал, что мы перекинем через мост по крайней мере полк. Тогда он взорвал бы мост, и нас, отрезанных, закидали бы бомбами с высокой горы. Его надежды не оправдались, на верную гибель мы свои части не переправили. Тогда ночью он взорвал шестой пролет моста и начал отступать. Наши части кинулись вдогонку. Слева уже подходили две бригады нашей дивизии и к вечеру девятого прорвались в Уфу.

Навстречу красным войскам выходили массы рабочих и приветствовали своих освободителей. Эти встречи являются самым глубоким моментом при вступлении наших войск в очищенные местности. Тотчас же из тюрьмы выпущены были наши товарищи, которых белые еще не успели расстрелять. А сколько здесь было расстреляно красных, знают только белые жандармы да темная ночь.

Ко мне приходили представители еврейского населения и поведали всю муку, весь ужас издевательств и свирепые расправы, которые чинились здесь белыми над еврейским населением. Я посоветовал товарищам собрать весь богатый материал, дать факты, скрепить их показаниями всех очевидцев и предать самой широкой гласности.

— Мы теперь, — говорили они, — готовы перенести любые трудности и страдания, лишь бы снова не попасть

в царство белых; и если бы военное счастье изменилось, — мы все уйдем из Уфы, ибо оставаться здесь все равно будет невозможно.

Когда говорили, — на глазах блестели слезы радости и только что перенесенной мучительной пытки. Теперь еврейская молодежь лихорадочно создает добровольческий батальон. Эта молодежь увидела, что другого выхода нет, решила вступить в ряды Красной Армии и биться с нами вместе, плечом к плечу, против белой своры.

Когда по городу стройными рядами проходил один из наших полков, шпалерами стоявшие граждане дрожали от восторга, бурно выражали свою радость, приветствовали нас самыми теплыми словами. А одна девушка крикнула: «Мы с вами, красные бойцы, мы всегда с вами!» — и заплакала.

Стройно, гордо шли красные орлы, полные спокойствия и сознания силы. Любо было смотреть на эту статную, могучую силу. Сердце задрожало в восторге, крепко сжимались кулаки, хотелось сделать что-то необыкновенное, хорошее, что сразу вознаградило бы их за перенесенные страдания, за безропотную тяжелую службу, за их честность и стойкость, а главное — за это величавое спокойствие, которое застыло на их измученных лицах.

Город ожил.

На следующий же день выпущена была газета, расклеены приказы и воззвания, с высоким подъемом прошли митинги, в гробовом молчании слушались лекции, с радостью шли на спектакли, концерты, где играли и участвовали красноармейцы.

Политический отдел дивизии сразу развил максимальную работу. Ни грабежей, ни насилий не было совершено, ибо в город вступили не случайные банды, а организованно вошла Красная Армия, полная сознанием революционного долга и революционной справедливости.

1919



МАРУСЯ РЯБИНИНА

Городской совет помещался в доме фабриканта Полушина. Дом просторный, удобный, комнат хватало на всех; нашлась внизу, под каменной лестницей, малая каморка и штабу Красной гвардии. В семнадцатом году мы вовсе забывали, где живем на постоянном житье, — там ли, где осталась семья, здесь ли, в совете, где надо быть начеку и день и ночь. И больше времени проводили в совете. День, от зари до полуночи, по заседаниям, в приемах, по митингам — мало ли что! От полуночи до рассвета дремали мы на широких дубовых столах, по лавкам, на притоптанном, смачном полу, кто где наугад умостится. В штабе гвардии круглые сутки содом. Приходили рабочие с фабрик, отмечались, давали сведения о своих отрядах, получали оружие, подписывались на разных обещаниях, правилах, брали инструкции и уходили. Была бессменная возня с учетом, много хлопот было и с оружием; оно частью хранилось тут же в комнатке, частью — во дворе, в сарае; автомобилями возили его сюда из военкомата.

В штабе гвардии впервые я встретил Марусю Рябинину. Была она девушка вовсе ранняя, годов семнадцати. Лицом кругла, в щеках румяна, носик торчал красной шишечкой, светлозеленые шустрые глаза просверливали через темную изгородь ресниц. Русые гладкие волосы Маруси отхвачены коротко и неровно; из-под платочка торчали они за ушами и на затылке будто жесткие оборванные пучочки мочалы. Ходила Маруся в кожаной тужурке, в плотной черной юбке — так ходила и лето и зиму, другого костюма не знала.

Первый раз я увидел Марусю в штабе гвардии. Она сидела, пригнувшись круто над столом, опрашивала кучку рабочих, записывала то, что рассказывали.

Прошел восемнадцатый год. В январе девятнадцатого мы уходили на Колчака. Иваново-вознесенские ткачи посылали тогда свой первый тысячный отряд. Этот отряд развернулся на фронте в полк, и прошел тот полк — Иваново-Вознесенский полк — страдный путь по Уралу, по самарским степям, был на Украине, с конницей Буденного, ходил на белую Польшу.

С первым отрядом ушла и Маруся Рябинина.

Горели пожары весенних боев. Колчак наступал на Волгу. То были дни колчаковских побед, дни, когда по югу раздольными полями в Москву развивал свой ход Деникин, когда по северу рыскали хищным зверьем английские добытчики. Советская Россия нервно дрожала в когтистом капкане упорного, лютого, смелого врага. Надо было резким усилием разжать капканью цепь, вырвать мускулы из темных пут, врага ударить с отвагой с размаху в лоб. И первым же крепким ударом надо было вышибить дух Колчака. Мы скликали против белого адмирала со всех концов советские полки.

Округлилась крутой железной грудью и встала в упор, и глянула дерзко, не мигая, врагу в лицо дивизия чугунных чапаевских полков. В той дивизии был полк иваново-вознесенских ткачей, в том полку шла бойцом Маруся Рябинина.

С переломных апрельских дней врага повернули вспять. В апреле от Бузулука в Бугуруслан гнали мы с присвистом и гиком белое вражье войско.

Есть такое село в просторах от Волги к Уфе — Пилюгино. Его не забудешь целую жизнь. Был под Пилюгином бой. Ревели и выли орудия. Шрапнель целовала огненным поцелуем голубой небесный овал. Как злые цепные псы, рвали, визжали пулеметы. Осеченным колосом падали бойцы, птицами бились в подсолнечных зарослях. Враг смолк. Враг пропал. И сразу остановилась страшная испуганная тишина. Мы мертвыми цепями молча шли по гумнам к затихшим избам села, шли и не знали — как встретят. Неужто роковая засада припряталась здесь по углам? Неужто эти глухие овины, эти молчащие избы стерегут нас страшной тишью? Мы робко ступали, как в погреб, чиненный ди-

намитом. Крался Иваново-Вознесенский полк, скрипела под ногами непокорная жухлая трава. Шла в цепи Маруся Рябинина. Устало свисла в нервных руках тяжелая каштановая винтовка, глаза горели страстным возбужденьем, но улыбалось открытое чистое девичье лицо. Полк вкрался в село, тихо вполз в улицу. Село молчало. Враг через гору скрылся в лес.

Прошло недолгое время, и снова уж бьется полк у Заглядина, на берегу Кинеля. Был по цепям приказ: приступом взять вражьи окопы. Окопы на том, на крутом, берегу; до окопов вброд сквозь волны, волнами вперед надо внезапно, срыву прорваться бойцам. Берег рыхл и крут, плотно укрыт в нем враг, врагу наши цепи открыты на удар. Как только метнулась команда, кинулись в волны. В первой цепи Маруся Рябинина. Вмиг, лишь в воду скакнули бойцы, грохнули дробью пулеметы из крытых песчаных дыр.

И первая пуля — в лоб Марусе. Выскользнула скользкой рыбкой винтовка из рук, вздрогнула Маруся, припала к волне, вспорхнула кожаными крыльями, тиснулась в волны, а волны дружно подхватили, всколыхнули теплый девичий труп и помчали на зыбких зеленых хребтах. За Марусей, за черной мелькающей тенью, в воде вьющимся алым шнурочком дрожала кровавая струя...

Полк прорвался на берег. Полк выбил цепи врага, занял глубокую ленту недоступных нор.

Теперь — далеко позади те годы. И нет больше звонкой круглолицей красноармейки Маруси Рябининой. Но не остудишь сердце, когда с болью и гордостью в памяти встанет прекрасный образ. Сколько, Маруся, таких, как ты, верных до последней жизненной черты, ушло в дни кровавой сечи!

1925



ЛБИЩЕНСКАЯ ДРАМА

В открытой степи, на берегу стремительного мутного Урала, раскинулась казацкая станица Лбищенск, ныне переименованная в город.

Как все станицы уральских казаков, она разбросалась на огромном пространстве, протянулась длинными широкими улицами, обвилась густыми садами, ушла в поля бесконечными огородами. Урал здесь круто изгибается в дугу, и местами песчаный, местами скалистый берег далеко вклинивается в грязные волны реки, падая отвесными срывами. Кой-где кусты, перелесочки, а кругом, куда ни глянь, бесконечная степь, темнозеленые и сизые дали, где опускается и пропадает горизонт. На север, до города Уральска, считают полторы — две сотни верст, а ниже, на юг — через Горячинский, Мергеневский, Каршинский и Сахарную — дорога идет на Гурьев, до самого Каспийского моря. Зауральские степи, где кочуют киргизы, называются Бухарской стороной; они уходят на восток. А на западе — Кушумская долина, Чижинские болота, и через станицу Сломихинскую — Александров-Гай.

Может быть, нигде не была более ожесточенной гражданская война, чем здесь, в уральских степях. По страдному пути от Уральска до Каспия не один раз наступали и отступали наши красные полки. Уральское казачество билось отчаянно за мнимую свободу, оно с величайшей жестокостью душило протесты трудовой массы, с неукротимой ненавистью встречало красных пришельцев. Сожженные станицы, разоренные хутора, высокие курганы над братскими могилами, сиротливые

надгробные кресты — вот чем разукрашены просторные уральские степи. Не одна тысяча красных воинов покоится здесь на пшеничных и кукурузных полях, не одна тысяча уральских казаков на веки вечные оставила станицы.

Одною из последних и наиболее драматических страниц в истории борьбы по уральским степям, несомненно, останется лбищенская драма, совершившаяся в ночь с 4 на 5 сентября 1919 года.

Гроза уральских казаков — красная Чапаевская дивизия — шла вперед. Август был месяцем отчаянных боев, когда мы шаг за шагом, часто без снарядов, без хлеба, с разбитым обозом двигались на юг, отбивая станицу за станицей, пока не заняли важнейшего центра — Лбищенска. Здесь остановились штаб дивизии, политический отдел, все дивизионные учреждения, школа курсантов, некоторые бригадные штабы, авиационный парк, обозы. Части ушли вперед, и 74-я бригада уже занимала Сахарную, верстах в семидесяти ниже Лбищенска. Казаки отступали на юг. Нашей задачей было — дойти до Гурьева, прижать их к Каспийскому морю, лишить опоры, принудить к сдаче.

Поздним вечером 3 сентября из степи прискакали фуражиры и сообщили штабу дивизии, что на них наскочил казачий разъезд и в завязавшейся схватке перерубил часть обозников. Ну что ж, казаки рыщут по всей степи, и нет ничего удивительного, что шальной разъезд подобрался к самому Лбищенску. На эту схватку посмотрели, как на случайный эпизод, однакоже во все стороны разослали конные разъезды, а наутро снарядили аэропланы и поручили им осмотреть окружную степь — нет ли где опасности, не движутся ли казаки. Воротились кавалеристы, прилетели аэропланы: тихо в степи, опасности нет ниоткуда. Весь день 4-го прошел в обыденной работе, штаб готовился двинуться дальше. Чапаев — начальник дивизии — и Батурин — военный комиссар — выезжали к частям и снова вернулись в Лбищенск.

Вечером на охрану западной окраины станицы направили школу курсантов, выставив всюду ночные дозоры.

В это время стоявшие под Сахарной казаки надумали осуществить свой дьявольский план. Они видели, что дальше к Каспию открываются голые степи, что удерживаться будет чем дальше, тем трудней, — там мало хлеба, мало лугов, трудно добывать питьевую воду. Уж если действовать, так действовать только теперь. И они решились. Отобрали тысячи полторы смельчаков и с легкими орудиями и пулеметами, во главе с генералом Сладковым и полковником Бородиным, поручили им ударить в наш тыл — незаметно пробраться мимо Чижинских болот, по Кушумской долине и внезапным налетом ворваться в Лбищенск. Этот рискованный маневр был рассчитан совершенно правильно в том смысле, что он в случае удачи разбивал наш тыловой дивизионный центр и оставлял безо всякого руководства бригады, ушедшие под Сахарную и на Бухарскую сторону. Решение было принято. Казацкий отряд выступил в поход. Двигались только ночью; днем отдыхали и прятались по оврагам. На Лбищенск шла черная туча.

До сих пор остается совершенно неизвестным и необъяснимым целый ряд случайностей, которые произошли в Лбищенске в роковую ночь с 4 на 5 сентября.

Во-первых, странным кажется, что летавшие 4-го числа летчики ничего не заметили в степи со стороны Кушумской долины. Казаки двигались в среднем верст по тридцать пять за сутки и, следовательно, днем 4-го стояли где-нибудь от Лбищенска за три — четыре десятка верст.

Подобное же недоумение вызывает и ответ конной разведки, которая получила задачу как можно глубже обследовать степь.

Затем дальше. Когда казаки были уже под Лбищенском, дозоры, повидимому, держали себя пассивно и подняли тревогу с большим опозданием. Наконец — и это особенно странно и невероятно — поздним вечером 4-го по чьему-то распоряжению была снята и уведена с охраны дивизионная школа курсантов.

Словом, все обстоятельства сложились таким образом, что дали возможность казакам подобраться к станице совершенно незамеченными и врасплох накрыть лбищенский гарнизон.

Когда на улицах показались передовые казацкие разъезды, — это было в 4—5 часов утра, — среди по-

вскакавших сонных красноармейцев поднялась сумятица. Удара никак не ожидали, а быстро сорганизоваться и дать отпор не могли. Все кинулись сначала к центру, оттуда на берег, к реке. Отдельные группы задерживались на выгодных местах, вступали в перестрелку, но, теснимые превосходными силами казаков, вынуждены были отступать все дальше и дальше к крутому обрыву. Чапаев, выскочивший в одном белье, собрал вокруг себя человек шестьдесят красноармейцев и сам руководил этой группой. Но что же могли поделать шестьдесят человек, когда на них то и дело бросались в атаку казацкие лавины... В это время на другой улице военный комиссар дивизии товарищ Батурин и начальник штаба товарищ Новиков собрали другую группу человек в восемьдесят — восемьдесят пять и держались настолько активно, что даже сами неоднократно бросались в атаку. Одна из атак была особенно удачна: храбрецам удалось отбить у казаков два пулемета и обернуть их против врага. Но беда заключалась в том, что связи между разрозненно действовавшими группами совершенно не было, и успех одной из них парализовался неудачей другой. Вскоре Чапаева ранило. Окровавленный, сжимая в правой руке винтовку, а левою держа наготове револьвер, он медленно отступал со своими сорока бойцами к берегу. Надо сказать, что по обеим сторонам станицы, по набережной стороне, казаки наставили пулеметов и косили тех, что бросались в воду в надежде добраться до того берега. Однакож делать было нечего. Храбрецов прижали к самой реке. Раненого Чапаева, насколько было можно, спустили вниз. Он бросился в волны и поплыл... Но силы уже оставляли его, измученного, раненая рука онемела, он стал захлебываться, и, когда был уже близко к берегу, пуля, видимо, угодила ему прямо в голову. Чапаев пошел ко дну.

Группа, бывшая с Батуриным и Новиковым, не сдавалась. Батурин, уже будучи ранен в живот, сам работал на пулеметах и сдерживал казаков до тех пор, пока они не проникли в тыл и по дворам, откуда стали отвлекать наши и без того ничтожные силы. Скоро они рванулись в новую атаку. Цепь наша дрогнула, попятилась назад и побежала... Прятались кто куда. Между прочим, начальник штадива товарищ Новиков, с переломленной ногой, заполз в одну халупу, и добродетель-

ная старушка хозяйка назвала его «мелким писаришкой» — и тем спасла жизнь. Батурина выдали: жители рассказали, что это комиссар дивизии, и казаки с остервенелыми лицами, кровожадные и разъяренные, вытащили его из халупы на волю. Били прикладами, били кинжалами, а потом, видимо, с размаху ударили головой о землю или о косяк двери, так как потом, когда разыскали его труп, он был страшно изуродован. Вся одежда была разодрана — ее рвали руками, резали кинжалами, протыкали штыками, секли шашками. Все тело было страшно обезображено, на подбородке зияла глубокая рана.

Когда погибла последняя геройская группа Батурина, организованного сопротивления уже никто нигде не оказывал. Казаки рыскали по домам, по дворам, ловили беглецов в степи, по берегу реки, в перелесках. Группами немедленно выводили их за станицу и ставили под расставленные заранее пулеметы. Расстреляно было так много, что три огромные каменные ямы у кирпичных сараев не могли вместить покойников — отовсюду из-под рыжей окровавленной земли торчали головы, ноги, руки погибших героев.

Политический отдел, сражавшийся частью в группе Батурина, погиб едва ли не до последнего человека. Лишь только захватывали какую-нибудь группу — командовали:

— Жиды, комиссары и коммунисты, выходи вперед!

И коммунисты выходили — бессильные, но спокойные, бросали в лицо врагам обжигающие проклятья и мужественно умирали после пыток и истязаний. Остальных уводили под пулеметы. Исаев, один из боевых товарищей Чапаева, будучи прижат вместе с ним к реке, выпустил шесть пуль по неприятельской цепи, а седьмую — себе в грудь. И над его трупом тоже издевались: прокололи мертвое тело штыками, так изуродовали, что лишь с трудом его ближайшие друзья по случайным признакам могли узнать в грязном комке земли, мяса и крови славного красного воина Петра Исаева.

Через два часа вся станица была усеяна трупами. Всюду валялись выпущенные кишки, заборы обрызганы были мозгами и кровью, то здесь, то там темнели отсеченные головы, руки, ноги. Казаки справляли кровавое похмелье.

В тот же день, 5 сентября, в Сахарной стало известно о том, что произошло в Лбищенске. Надо было немедленно принимать какое-то решение. Идти вперед без штаба дивизии, без руководства и снабжения — невозможно. Отступать — трудно: сзади путь отрезан, а из-за Сахарной уже появились новые белые части. Кутяков, командир 73-й бригады, принял на себя командование дивизией и, невзирая ни на что, приказал отступать на Лбищенск и дальше — на Уральск.

С места решено было сняться ночью, сняться так тихо, чтоб казаки не заметили, не услышали. Каждому красноармейцу объяснена была предстоящая операция, все знали, что и как надо делать. Лишь стемнело, начали строиться полки. В середину, в кольцо, они замкнули обозы и артиллерию, в арьергарде оставили кавалерийские части, которые должны были сдерживать натиск, если только неприятель заметит и поймет наш маневр. В станице разложили костры, чтобы этим еще более успокоить врага, уверить его в том, что никакого движения не происходит.

Приготовления совершались с поразительной быстротой, в глубокой тьме, среди гробового молчания. Приказания отдавались шепотом и шепотом передавались по цепи.

Лишь кое-где шипели из мрака то укоры, то легкая перебранка:

— Куда ты, черт, наехал! Ой, ногу отдавил! Держи левее... Ишь, колесо-то скрипит — смажь... Усилить шаг... Ускорить шаг... — передается по цепи тихая команда.

Все быстрей и быстрей уходят в степь наши отступающие части.

На той стороне спокойно — казаки уверены, что красноармейцы греются у костров.

Вот миновали Коршенской. А когда подходили к Мергеневскому, издалека — от Сахарной — донесся глухой и тяжкий взрыв. Это последний отходивший кавдивизион вынужден был взорвать церковь, где хранились наши снаряды. Вывозить было не на чем, оставлять врагу было бы бессмысленно — пришлось взрывать огромное здание.

Двое суток шли почти не отдыхая. В ночь с седьмого на восьмое достигли Лбищенска. Сюда еще раньше из Мергеневского пришла 73-я кутяковская бригада; накануне она выступила и направилась вверх, к Уральску, вслед за ушедшими туда казачьими частями.

... В Лбищенске нашли смерть и запустение. Трупы были все еще не убраны, жители прятались по домам, улицы были глухи и страшны. Отправились в поле, где были расстреляны товарищи, отдали честь, последний долг, похоронили их в братских могилах. На поле нашли массу записочек; их набросали наши мученики, когда их вели на расстрел.

«Сейчас меня расстреляют, — говорится в одной, — казаки ведут к ямам... Прощайте, товарищи... Вспоминайте нас...»

«Меня ведут расстреливать, — говорится в другой. — Прощай, Дуня, прощайте, дети...»

«Иду умирать... Да здравствует советская власть!..» — говорится в третьей.

И так во всех — то проклинают врагов, то говорят, за какое великое дело идут на расстрел, то прощаются с друзьями, со стариками родителями, с женой, ребятишками...

Подходили бойцы один за другим, опускались молча на колени перед могилами дорогих покойников и так подолгу стояли без слов, полные скорбных чувств, полные тяжких и суровых дум...

Из погребов, подвалов, из-за бань, из огородных гряд, из-под сараев выползали отдельные, случайно спасшиеся счастливцы. Они рассказывали ужасы, от которых седеют головы.

В предбаннике, за выступом каменной стены, в бесчувственном состоянии нашли красного командира дивизиона. Он сражался вместе с Батуриным, а когда был ранен в грудь, дополз сюда, заткнул шинелью кровавую рану и слышал, как в баню трижды вбегали казаки, наскоро осматривали полки и печь, звенели оружием и, как очумелые, мчались дальше. Больше тридцати часов продержался он здесь — без капли воды, без куска хлеба, заткнув свою рану грязной шинелью. Все верил, ждал, что придут свои. И дождался — они пришли. Взяли его бережно, унесли в лазарет. Выжил, поправился, теперь полушутя вспоминает, как спрятался в предбаннике, как мучился и ждал прихода освободителей.

Отдыхали в Лбищенске недолго, тронулись дальше на Уральск. Вскоре, под хутором Янайским, казаки настигли измученные красные части. Здесь был такой отчаянный бой, какого не запомнят даже испытанные

командиры Чапаевской дивизии. Ночью, во тьме, казаки подползли на восемь шагов к нашим частям, спавшим мертвым сном после бессонных и трудных ночей. Когда от ураганного неприятельского огня наши части уже готовы были отступить, командир артиллерийского дивизиона товарищ Хлебников с исключительным мужеством и находчивостью так сумел повести артиллерийский обстрел, что быстро изменил картину боя. Наши ободрились, казаки дрогнули и стали отступать. Много наших бойцов полегло в этом бою, но еще больше полегло казаков; у них были скошены целые цепи, так рядами и лежали по степи.

Больше не было уже ни одного боя, подобного янайскому. Скоро подошла подмога. Казаки были повернуты вспять. И снова шли через Лбищенск наши красные полки, теперь уже до самого Гурьева, к Каспийскому морю.

Застывали над братскими могилами, покрывали степь похоронным пеньем, вспоминали тех, что с беззаветным мужеством погибли в расстреле, в жестокой сече или в холодных и бурных волнах Урала.

1922



КРАСНЫЙ ДЕСАНТ

Осенью, в августе 1920 года, Врангель из Крыма перебросил на Кубань несколько тысяч своих лучших войск. Этими войсками командовал Улагай — один из ближайших сподвижников Врангеля. Цель переброски заключалась в том, чтобы поднять на восстание против советской власти кубанское казачество, свергнуть ее и начать морем переправку хлеба в Крым. Белый десант высадился в трех пунктах Азовского побережья и сразу пошел вперед свободно, быстро, почти не встречая препятствий, занимая один поселок за другим, все ближе и ближе подвигаясь к сердцу области — Краснодару.

Взволновалась, встревожилась Кубань. Ощетинилась полками 9-й армии, наспех сколоченными отрядами добровольцев: один только Краснодар в эти неспокойные дни выставил шесть тысяч рабочих-добровольцев! Улагаевский десант шел победоносным маршем и ждал со дня на день, что восстанет казачество и тысячами, десятками тысяч, создавая партизанские отряды, станет к нему примыкать, помогать ему наскакивать на тылы Красной Армии, громя их и уничтожая. Но ничего подобного не случилось. Измученное долгими испытаниями гражданской войны, убедившееся в подлинной силе Красной Армии, в могуществе советской власти, казачество кубанское не верило в успех улагаевской затеи, держалось спокойно и на помощь к нему не подымалось. Правда, не по душе была зажиточным казакам продовольственная разверстка, не по душе было запрещение вольной торговли, запрещение бессовестной эксплуатации работ-

ников-батраков, но даже при всем этом недовольстве богачи казаки не осмеливались выступать против советской власти, как выступали они против нее в 1918 году. И все же опасность от белого десанта была велика. Надо было торопиться его остановить, задержать, а потом ударить и отогнать...

«Не прогнать, а уничтожить!» И Кубань готовилась лихорадочно к этой новой трудной задаче.

В двадцатых числах августа неприятель стоял всего в сорока или пятидесяти верстах от областного центра, Краснодара. Был принят целый ряд срочных мер. В числе этих мер — посылка красного десанта по рекам Кубани и Протоке к неприятелю в тыл, верст на сто пятьдесят от Краснодара, к станице Ново-Нижестеблиевской: там находился тогда штаб генерала Улагая, командовавшего белым десантом. Начальником красного десанта был назначен тов. Ковтюх, комиссаром назначили меня.

Нашей задачей было нанести неприятелю внезапный стремительный удар в тылу, вырвать у него инициативу наступления, произвести панику, разрушить все планы...

Операция удалась.

На Кубани, у пристани, стояли три парохода: «Илья Пророк», «Благодетель» и «Гайдамак». Пароходишки дрянные, старые, на ходу тяжелые: через силу протаскивались по семь, по восемь верст в час. На этих пароходах и на четырех баржах должен был отправиться в неприятельский тыл наш красный десант.

Целый день до вечера на берегу царило необыкновенное оживление: за несколько часов надо было собрать живую силу, вооружиться, запастись продовольствием, что можно — починить... Подъезжали автомобили, скакали кавалеристы, подвозили артиллерию и отчаянно галдели, возясь с нею на песчаном скате; гремя и дребезжа, врывались в говорливую сутолоку военные повозки с хлебом, фуражом, со снарядами; по чьей-то неслышной команде подбегали кучки красноармейцев, живо взваливали на спину тугие мешки и, согнувшись дугою, качались на речных подмостках, пропадали в зияющих темных дырах пароходов... Ящики со снарядами брали подвое, а те, что потяжелее, и по-четверо, тихо снимали, тихо несли, тихо опускали на землю — такова была команда: «Снарядов не бросать!» Ну зато уж над хлеб-

ными караваями потешились вволю: их, словно мячики, перебрасывали из рук в руки, старались друг дружку загнать, опередить в ловкости и быстроте. А иной раз эти мячики давали здоровенного тумака зазевавшемуся ротозею и через его голову проскальзывали в руки дальнего соседа, ждавшего с лукавой усмешкой.

Одному такому ротозею, стоявшему на подмостках, над водой, сбили фуражку прямо в реку, дружно хохотали, острили.

— Эка буря поднялась, одежду рвет!.. — кричит один.

— Плыви скорей, что смотришь! — горланит другой.

А третий, показывая на лодку, смеется:

— Эй, ударь веслами, попытай счастья...

После этого случая ребята поснимали шапки: те, что были на берегу, бросили их на землю, а стоявшие на подмостках и близко к воде — пихали за пазуху, за пояса.

Погрузка продолжалась. Подходили новые команды оживленными стройными рядами, а потом расплывались, пропадали в толпе, — и эти новые также начинали бегать, таскать, браниться, хохотать. С инструментами в руках и на плечах, готовая к работе, подошла рабочая артель и, пошучивая, пересмеиваясь с красноармейцами, исчезла в прожорливой пасти парохода.

Вездесущие торговки продавали на берегу спелые сочные арбузы; мальчишки, юркие и горластые, шныряли повсюду и предлагали нараспев папиросы. Шпалерами стояла в отдалении бездельничающая публика, недоуменно смотрела на все эти приготовления, выспрашивала, высматривала, вынюхивала. Потом каждый разносил по городу вздорные слухи, уверяя, что видел все «своими собственными глазами». Были тут, как это водится, шпионы, но даже и они не могли проникнуть в тайну таких по виду шумных, открытых, в то же время совершенно секретных приготовлений.

Тайна в нашем деле была крайне необходима. Тайну надо было хранить крепко, ибо, выпорхнув в Краснодаре, она через несколько часов опустилась бы в улагаевском штабе.

За время гражданской войны белое казачество отлично приучилось поддерживать свой казачий «узунку-

лак» (так называется у киргизов Семиречья обычай — всякое важное событие немедленно передавать от кишлака к кишлаку). Получил киргиз весть — вскакивает на коня, мчится по равнинам, пробирается по горным тропкам — и в результате за короткое сравнительно время вся пустынная и дикая округа оповещена. Если бы Улагай заранее узнал про красный десант, всей операции нашей была бы грош цена: приготовиться к встрече и обезвредить нас не стоило бы ему ровным счетом никаких трудов — речные мины, десятка полтора пулеметов в камыши да два — три орудия, взявшие на картечь, — вот и могила десанту: в узкой реке трудно было бы спастись.

Тайна была соблюдена.

Вопросы любопытных разбивались о мычание незнающих. А бойцы — эти даже и не любопытствовали; разве только курносый и веснушчатый пулеметчик Коцюбенко толкнет локтем соседа и молвит:

— На подмогу? А?

— Известно, не против своих, — оборвет его недовольный сосед.

На этом разговор и кончается.

Красноармейцы были набраны молодец к молодцу: добровольцы, члены профессиональных союзов, рабочие, комсомольцы, партийно-мобилизованные, — словом, такие ребята, с которыми можно было начать любое трудное дело. Всего набралось восемьсот штыков, девяносто сабель, десяток пулеметов да артиллеристы около макленовского взвода и двух легких полевых орудий. Отряд небольшой, но ядреный.

После обеда, часам к четырем, все уже было готово к отплытию: втащили последние ящики снарядов, загнали автомобили, завели усталых, взмыленных коней.

Дожидались — не подойдут ли медикаменты, но с этим добром в подобных случаях, уж, видимо, конец всегда один: не подошли. И ехать пришлось, можно сказать, с совершенно пустяковыми запасами.

На баржи, на пароходы втащили подмостки, побросали грязные мокрые канаты... Бабы закатывали в мешки непроданные арбузы, взваливали на плечи, уходили. Берег пустел, зеваки расходились... На баржах, где навалены были седла, мешки, канаты, сено, арбузы,

солдатские сумки, — в самых разиообразиых позах расположились бойцы: грудио, шумно, весело.

На одиой барже, у самого борта, свесив иоги, сидел Ганька из комсомола, по профессии наборщик. Ему восемнадцать лет. Лицо у Ганьки хорошее, чистое, а глаза светлые и умиые. Он хорошо умеет играть на гитаре, легок на иоги, отличио пляшет и поет звучно, широко и свободио, из комсомола хотели иаправить в студию — развивать свои таланты, да тут вот приплыл Улагай — ие до учеиья, иадо идти воевать. Ои даже и ие раздумывал иад тем, идти ему или остаться. Когда в комсомоле объявили набор добровольцев, ои записался одиим из первых и ии иа секунду ие знал колебаиия — наоборот, всеми чувствами, мыслями и волей вдруг иапрягся в ожидаиии чрезвычайных, удивительиых событий. Ои иа фронте еще ие бывал никогда и представлял себе этот фроит совершеино фаитастически.

Гаиька молчал, плевал иа воду и любовался, как крошечные рыбки подскакивали и глотали его белую, творожную слюиу.

Позади Гаиьки иа корточках сидел матрос Леоитий Щеткии. Глаза, как у совы, круглые, водянистые, когда иадо — добрые, а когда жестокие. Острижеи иаголо; широкая открытая грудь загорела, как медиый таз. Щеткии молча озирался кругом, пускал залпом махорочный дым и долбил себя кулаком по колену...

Около самых его иог на куче сена покоилась черная кудрявая голова Танчука, лихого наездника, красивого бледиолицего белорусса. Самым дорогим существом иа этой барже был для Таичука его пегий коиь, имеием Юсь.

Отчего ои иазвал его Юсь — и сам объясиить ие мог, ио уж, верно, потому, что когда Таичук произносил часто: Юсь, Юсь, Юсь — получался свист, и это ему иравилось: ои иачииал прихлопывать, притопывать и высвистывать плясовую. Дважды раиеиый Юсь иеодиократно спасал жизнь своему бледиолицему седоку и уиосил его даже от быстроногих казацких коией.

Танчук лежал с открытыми глазами, глодал арбузную корку, сопел и отплевывал в сторону.

Рядом стоял эскадроиный по фамилии Чобот — высокий, мускулистый, могучий. Полуголодиое бродяжничество из города в город, из коица в конец по широкой

Руси, нескладная семейная жизнь — ничто не убило в нем бодрого духа, какого-то ясного, торжественного отношения к жизни. Казалось, будто у этого человека никогда не было и нет ни несчастий, ни горя; будто у него одна сплошная радость, которая так вот открыто льется на волю и сквозит во всем: в его словах, в его движениях, в его манере обращаться с людьми и в том, как легко и весело берется он за всякое дело.

Чобот стоял, чему-то улыбался — верно, своим мыслям — и смотрел вверх по Кубани...

Тут же был веснушчатый желторотый Коцюбенко. Жиденький, маленький, он словно врастал в землю и становился еще меньше, когда начинал что-нибудь говорить своим глухим, могильным голосом. Бедняга был болен чахоткой. Лечился, но мало, плохо, неисправно. Страшная болезнь подбирала его под себя, готовилась удушить. Коцюбенко это знал и, когда был один, становился мрачен, тосклив и задумчив. А на людях все торопился во всем и всех перекричать, но как-то невинно, как-то незлобно — и на это никто не обижался. Когда он силился «громыхнуть», как острил про него огромный Чобот, все невольно притихали, и на лицах появлялась терпеливая, снисходительная улыбка.

— Инь, чёрт, не балуй! — крикнул Танчук, увидев, как Юсь прицеливался укусить соседа мерина.

Юсь остановился, словно вдумываясь в то, что услышал, дернул два — три раза теплыми шелковистыми ушами и отвернулся от мерина.

— То-то, — объявил торжественно Танчук.

— А что — «то-то»? — спросил усмешливо Чобот.

— Не видишь? Слово понимает...

— Ну, вижу: стоит, как стоял,— поддразнивал Чобот.

— Грызть хотел, ерыга...

— Все чего-нибудь хотят, — философически брякнул Щеткин.

На минутку все замолчали.

— Товарищи, — обернулся к ним Ганька, — а верно, что лошадь привыкает к хозяину и понимает, что он ей говорит, — правда? А?

— Так вон, хоть бы сичас... — начал было Танчук.

— Ясно, — прогремел Чобот, перебивая его. — Иной скажет, дескать, посторонись-ка, а она и жмякнет тебе копытом на ногу... все понимает, да еще как...

— Нет, товарищи, понимает, — вмешался Коцюбенко, — только кормить надо. Ты кормишь, тебя и понимает. И слушает одного тебя. У отца вороной жеребец одного его подпускал, а соседу, Антипу, руку прогрыз, мясо вырвал. Один отец ходил — с ним, как ягненок...

— Кто кормит, тот любит, — поддержал его Ганька. — А любовь все понимают. Поди-ка пни лошадь ни за што, думаешь, не обидится? Как же... Сразу поймет... А холку потрепли — замрет, ждет, что станут еще трепать... Все, братец, понимает.

— Непременно так, — поддерживал и Танчук.

По берегу шла девушка в розовом платке; она смотрела на баржи и кого-то, видимо, искала.

— Ай, Дуня-Груня, — крикнул Чобот, — не видишь, што ли?

Девушка улыбнулась и шла дальше.

— Хоть платочек на дорогу подари, — смеялся он.

— И глядеть-то не хочет, — ввернул Щеткин.

— Тебя видит, пугается... — бросил Чобот.

— Сам-то хорош, кобыла березовая...

Все рассмеялись.

— Ганька, — сказал Коцюбенко, — хочешь, гармошку принесу, петь будешь?

— Чего же не петь, буду, — согласился Ганька.

Коцюбенко пропал среди мешков и коней и скоро воротился с гармонью.

Сел на бревно и, как полагается, минуту или две пробовал голос, тянул ноты, мурлыкал что-то про себя, брал всевозможные аккорды.

— Ну, што? — вытянулся он вопросом к Ганьке.

— Што хочешь...

— Давай — «За острова на стержень»...

— На стрежень, — поправил Ганька. — Только помогать — один не стану!..

— Начинай! — согласились разом Чобот и Танчук.

Ганька запел. Сначала тихо, будто пробуя и приноравливаясь, потом громче, громче, громче...

Он уже поднялся на ноги, лицом обернулся к реке и пел не людям — волнам Кубани.

Гармошка подыгрывала плохо; Коцюбенко почти совсем не умел на ней играть, но это дела не портило. Пока Ганька запевал — Коцюбенко притихал, вслушиваясь в

серебряный Ганькин голос, а когда он хотел дать гармошке ход — было уже поздно: ребята подхватывали громовыми голосами вторую половину куплета и не давали Коцюбенко проявить себя как следует... Уж вся баржа пригрудила к певцам и слилась с ними в общей песне...

Ганька заканчивал и повторял первый куплет:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны...

Бурею вырвались грудные, сильные голоса:

Выплывают расписные
Стеньки Разина челны.

В эту минуту певцов качнуло в сторону. Пароходы — незаметно, бесшумно, без свистков — снялись с места, отчалили от берега, потянули за собой баржи...

Словно огромные чудовища, длинной лентою вытянулись суда по реке. Было в этом зрелище что-то одновременно и торжественное и жуткое: отряд уплывал в неприятельский тыл.

Этого никто не знал, но уже чувствовали и понимали все по характеру стремительных сборов, что предстоит что-то значительное и очень важное. Беззаботная веселость, царившая на баржах и пароходах, пока они стояли у берега, уступала теперь свое место какому-то трезво напряженному и сосредоточенному состоянию. Это была не трусость, не растерянность, не малодушие — это была непроизвольная психологическая подготовка к грядущему серьезному делу. Во взглядах, коротких и полных мысли, в движениях, быстрых и нервных, в речах, обрывистых и сжатых, — во всем уже чувствовалось нечто новое, чего совершенно не было, пока стояли у берега; это состояние нарастало прогрессивно по мере продвижения и принимало все более и более определенные формы мучительного ожидания.

На пароходах, где в общем и целом про операцию знали больше, чем на баржах, все повысыпали на верхние палубы и, показывая в разные стороны, определяли, где расположено то или иное болото, где проходят дороги и тропы...

Кубань кружилась и вилась между зелеными берегами. Вот уже миновали корниловскую могилу — кро-

шечный холмик на самом берегу. Все знакомые, такие памятные исторические места! Эти берега сплошь политы кровью: здесь каждую пядь земли отбивали с горячим боем у царских генералов наши красные полки.

Дальше, все дальше плывет отряд...

Широкими темными пятнами раскинулись в отдалении станицы. Лесу нет — кругом идут просторные, теперь уже пустые, сжатые поля.

Кое-где трава особенно сочна и зелена — это болота; порою встречаются камышовые заросли, но здесь их еще немного — они будут дальше, в завтрашнюю ночь; изредка блеснет свинцовое лоно лимана — вокруг него ютятся, как пасынки, мелкие корявые, уродливые кустарники...

Все ниже и ниже опускается темная августовская ночь. Вот уже и берега пропали, вместо них остались по краям какие-то однообразные смутные полосы: ни трав, ни камышей, ни кустарника — не видно ничего. Медленно движется караван судов. Передом, как собачонка перед сердитым хозяином, юлит и кружится во все стороны моторная лодка. Ей дана задача все видеть, все слышать. Знать все, что ожидает впереди, а главным образом высматривать, нет ли попрятанных мин.

Эта первая ночь еще не грозила большими опасностями; надо было к утру добраться до станицы Славянской, что верстах в семидесяти — восьмидесяти от Краснодара, если считать по воде. В Славянской — наши; берега, следовательно, до самой станицы должны быть тоже наши. Впрочем, это последнее предположение может быть и ошибочным: неприятель, отлично зная места, все потайные дорожки и камышовые тропы, часто заскакивал в наш тыл и оказывался там, где его совсем не ожидали. Так мог он и теперь заскочить на эти берега, мимо которых мы проплывали. Но тихо: ни стрельбы, ни шума. Только слышны всплески воды под колесами пароходов, да изредка конь заржет, обиженный беспокойным соседом.

Опустели палубы пароходов — люди спустились в каюты. Сидели молча, говорить не располагало. Иные дремали, просыпаясь при каждом толчке; иные сидели, упершись взорами в темные стекла, и курили одну цыгарку за другой. На баржах тоже тихо: притулившись к седлам, к мешкам, к повозкам или прижавшись друг

к другу, спят красные бойцы. Сопят и храпят вперегонки, закрыв глаза, — чрезвычайно странно послушать этот своеобразный концерт. Что-то фыркает и хрипит внутри пароходов, но так сдержанно, так тихо, что едва ли слышно на берегу.

Все дальше и дальше плывет наш красный караван.

Когда густая мгла стала подниматься от земли, а на востоке чуть забрезжила заря, мы подплывали к Славянской.

У самой станицы над рекою — огромный железнодорожный мост. Его взорвали белые, когда увидели, что положение их безнадежно. Чудовище рухнуло в воду, но крайние пролеты устояли и под углом накренили средний пролет, лежавший на дне. Под этими крайними пролетами и надо было провести наши суда. Задача нелегкая, ибо река здесь сильно обмелела. Работы хватило до самого вечера: вымеривали, выщупывали, проверяли каждый шаг. Наконец все готово к отплытию. Разместились новые бойцы, которых забрали из Славянской. Теперь уже всех набиралось около полуторы тысячи человек. Погрузили кое-что из припасов — и снова в путь. Десант разбили на три эшелона. Во главе каждого поставили на время пути своего начальника; разъяснили, что предстоит за путь, чего можно ночью ожидать.

Лишь только смерклось, так же тихо и бесшумно, как вчера, отчалили от берега тяжелые пароходы. В станице никто не заметил отхода; весь день она была оцеплена войсками — ни в станицу, ни из нее никого никуда не пускали. Тайна и здесь была сохранена.

Тайна спасла жизнь красному десанту.

От Славянской до Ново-Нижестеблиевской, где стоял улагаевский штаб, по Протоке считается верст семьдесят. Ехать надо целую ночь. Время было рассчитано таким образом, чтобы к месту высадки попасть на рассвете, в тумане, когда все еще погружено в глубокий сон. Врага застать надо было врасплох, появиться совершенно неожиданно.

Эту последнюю мучительную ночь никогда не забыть участникам похода. Пока ехали до Славянской, здесь все-таки были свои места, и неприятелю проникнуть сюда было трудно. А вот теперь, за Славянской — среди

лиманов и плавней, по зарослям и камышам, которыми укутаны мокрые низкие берега, — там всюду кишат вражьи дозоры и разъезды. Положение крайне опасное. В таком положении меры принимать надо было особенные.

Перед тем как отплыть пароходам, на берегу собрались в кучу руководители отряда и совещались о необходимых мерах предосторожности. Тут был начальник Ковтюх, имя которого так неразрывно связано с Таманской армией. Эту многострадальную армию по горам и ущельям он выводил в 1918—1919 году из неприятельского кольца. Кубань, а особенно Тамань, отлично знают и помнят командира Епифана Ковтюха. Сын небогатого крестьянина из станицы Полтавской, он за время гражданской войны потерял и все то немногое, что имел: хату белые сожгли дотла, а имущество разграбили начисто. Всю революцию Ковтюх — под ружьем. Немало заслуг у него позади. Да вот и теперь: Кубань в опасности, надо кому-то кинуться в самое пекло, пробраться во вражий тыл, надо проделать не только смелую — почти безумную операцию. Кого же выбрать? Епифана Ковтюха. У него атлетическая, коренастая фигура, широкая грудь. Большие рыжие усы словно для того лишь и созданы, чтобы он их щипал и крутил, когда обдумывает дело. А в тревожной обстановке он все время полон мыслями. И в эти минуты уже не говорит — командует. Зорки серые светлые глаза; чуток слухом, крепок, силен и ловок Ковтюх. Он из тех, которым суждено остаться в памяти народной полулегендарными героями. Вокруг его имени уже складываются были и небылицы, его имя присоединяют красные таманцы ко всяким большим событиям. Стоит Ковтюх на берегу и машинально, сам того не замечая, все дергает и дергает широкий рыжий ус.

С ним рядом стоит первый, ближайший, лучший помощник — Ковалев. Ему перекосило от контузий лицо, на сторону своротило скулу, оттянуло верхнюю губу. Не запомнить Ковалеву, сколько раз побывал он в боях, сколько раз ходил в атаку. Даже не подсчитает точно и того, сколько раз был поранен: не то двенадцать, не то пятнадцать. Я не знаю, есть ли у него живое место, куда не шлепнулась бы пуля, не ударился бы осколок снаряда или взметнувшаяся земля. И как только выжил человек — не понять. Худой, нездоровый, с бледным, из-

мученным лицом, обрамленным мягкой шелковистой бородой, он представляет собою образец истинного воина по своей постоянной готовности к любому, самому рискованному делу, по своей дисциплинированности, по личному мужеству и благородству. Числясь в полной отставке, он никак не мог оставаться вне боевой обстановки и теперь направлялся с нами совершенно добровольно на опасное дело.

Я видел его потом в бою — такой же веселый, ровный, как всегда. Самое большое дело он совершал с неизменным хладнокровием и докладывал об этом деле, как о пустяке, не стоящем внимания. Таких Ковалевых, чуть заметных, но подлинных героев, — много в Красной Армии. Но они всегда скромны, о себе молчат и остаются в тени.

Против Ковалева — командир артиллерии Кульберг. Я ближе узнал его лишь потом, в горячем бою, когда у нас все было поставлено на карту; такой твердости, такой настойчивости можно позавидовать: кремень — не человек. А посмотреть — словно козел в шинели, да и голос, как козлиный, дрожит, дребезжит, рассыпается горохом.

Были еще два — три командира. Совещались недолго: почти все было решено и передумано еще днем.

— Позовите Кондру, — приказал Ковтюх.

— Кондра... Кондра... Кондра... — покатилось из уст в уста.

Быстрой твердой поступью подходит Кондра.

— Я явился. Что прикажете?

Любо посмотреть на бравого молодца: глаза горят отвагой, а рука то и дело опускается на эфес кривой чеченской шашки. На самом затылке мохнатая белая шапка: открылся чистый высокий лоб, еще яснее стали ясные быстрые глаза.

— Слушай, Кондра, — сказал Ковтюх. — Ты должен знать, что дело, на которое идем, — опасное дело. По плавням белые. Куда ни глянь — в камышах, по луговинам, над лиманами, — у них везде стоят, разъезжают дозоры... Знаешь ты эти места?

— Ну кто же их знает, как не я? — осклабился Кондра. — До самого Ачуева, до моря — тут все болота, все дорожки знакомые... Ходил, знаю...

— А знаешь... Так вот что, — молвил Ковтюх, — нам некогда медлить... Суда готовы плыть. Надо взять тебе десятка три — четыре лучших из ребят, самых смелых, да и место знающих, — взять их с собой и — фью... (Ковтюх свистнул и пальцем указал куда-то неопределенно вперед.)

— Понимаю...

— А понимаешь — и толковать больше не будем. Возьмешь погоны офицерские, кокарды, светлые пуговицы: у меня все заготовлено... А ну! — обратился он к одному из стоящих.

Тот мигом к пароходу и скоро вернулся с небольшим узелком.

— Бери, — подал Ковтюх Кондре узелок. — Только живо; разукрашиваться будете не здесь — когда отъедете. Выдели надежного — он поедет по левому берегу, дашь ему человек десяток: тут не так опасно. А сам направо. Оглядывайся, не проморгай. Коли что неладно — знаешь наши сигналы. Держись ближе, самого берега.

— Понимаю...

— Так запомни: ежели не очистишь берегов — нам назад не возвращаться...

— Так точно... Можно идти?

— Иди... Да живо...

Кондра так же быстро, как и появился, исчез на барже. Скоро стали сводить коней. Потом сбились в кучу. Потолковали с минуту, разбились на две партии... И видно было, как быстрою рысью поехал Кондра, а за ним человек двадцать пять бойцов.

В другую сторону отделилась группа человек в пятнадцать, и во главе ее узнал я Чобота: могучий, широкий, как богатырь, сидел он на рослом вороном коне. А рядом с ним Ганька — худенький, гибкий, как тополевый сучок. Со всех судов смотрели молча красноармейцы вслед удалявшимся товарищам, — не спрашивали, не допытывались — все было понятно и так. Не было ни шуток, ни смеха.

Отъехал Кондра версты полторы, спешился со своими ребятами и говорит:

— Вот тут разбирайте, кому что придется, только с чинами не спорить, — и подал им узелок.

Ребята развязали его, извлекли оттуда белогвардейские наряды — погоны, кокарды, пуговки, ленты, — и через пять минут отряда было не узнать.

Сам Кондра оборотился полковником, и когда надувал губы, делался смешон и неловок, словно ворона в павлиньих перьях.

Тьма еще не проглотила вечерние сумерки, и дорожку различать можно было лишь с трудом. Сели снова на коней, тронулись.

— Хлопцы, — внушал Кондра, — не курить, не кашлять громко, будто нас вовсе нет...

Ехали в тишине. Чуть слышно хлюпали по влажной и топкой земле привычные кони. Лишь только они начинали вязнуть — и вправо и влево отъезжали всадники, выискивали, где крепче, где настоящая дорога... Так ехали час, два, три... Никто не попадался навстречу; в камышах и по плавням — никаких признаков жизни. Черным, густым мраком закутались равнины; над болотами — тяжелый седой туман. Вот навстречу донеслись какие-то странные звуки, которых не было до сих пор; так гудит иной раз телефонная проволока, а может быть, это где-нибудь вдалеке падает ручей...

Кондра остановился, остановились и все. Он повернул ухо в ту сторону, откуда доносились звуки, и различил теперь ясно гомон человеческой речи...

— Приготовиться! — отдана была тихая команда.

Руки упали на шашки. Продолжали медленно двигаться вперед... Были уже отчетливо видны силуэты шести всадников — они ехали прямо на Кондру.

— Кто едет? — раздалось оттуда.

— Стой! — скомандовал Кондра. — Какой части?

— Алексеевцы... А вы какой?

— Комендантская команда от Казановича...

Всадники подъехали. Увидели погоны Кондры и почтительно дернулись под козырек.

— Разъезд? — спросил Кондра.

— Так точно, разъезд... Только — кто же тут ночью пойдет?

— Никого нет, сами проехали добрых пятнадцать верст.

В это время наши всадники сомкнулись кольцом вокруг неприятельского разъезда...

Еще несколько вопросов-ответов; узнали, что дальше едет новый дозор. Примолкли. Тишина была на одно мгновение. Кондра гикнул — и вдруг сверкнули шашки... Через пять минут все было окончено.

Ехали дальше, и с новым дозором был тот же конец...

Так за ночь изрубил мужественный Кондра шесть неприятельских дозоров и не дал уйти ни одному человеку.

Чоботу тоже встретились два дозора, и судьба их была такой же, только со вторым дозором чуть не приключилась беда: под раненым белым всадником рванулся конь и едва не унес его. Пришлось вдогонку послать ему пулю — она сняла беглеца на землю.

Этот выстрел Чобота мы слышали с парохода и насторожились: предполагали, что завязывается перестрелка, что дозору удалось уйти, что враг примет живо какие-то новые меры.

Мы все стоим на верхней палубе и ждем... Вот-вот послышатся сигналы Кондры или Чобота. Но нет, ничего не слышно, на берегах могильное спокойствие.

Всю ночь до утра мы дежурили на верхних палубах. Все чудилось, что в камышах кто-то передвигается, что лязгает оружие, слышен даже глухой и сдержанный шепот-разговор. Здесь близко берега — и можно рассмотреть мутное колышущееся поле прибрежных камышей.

— Как будто что-то... — начинал один, присматриваясь в мглу на берег и указывая соседу.

— А нет, — отвечал тот, — пустое...

Но потом, всмотревшись пристальнее, продолжал:

— А впрочем... Да, да... Как будто и в самом деле...

— Ты вот про то, что колышется, как штыки?

— Да, про них... Всмотрись... Только — что это? — и здесь, смотри, и здесь, и дальше все те же штыки...

— Э, да ведь это все камыши волнуются...

И отводили взоры от берега, но только на мгновение, а потом — опять, опять штыки, глухой и тихий разговор, стальное лязганье... Ночь полна страшных шорохов и звуков... Каждый силится остаться спокойным, но спокойствия нет. Можно сохранить спокойное лицо, и голос, и движения, но мысль бьется лихорадочно, чувствительность обострена до крайности. Рассуждали о том, что

надо делать, если вдруг из камышей откроется пулеметный огонь. А можно ведь ожидать и большего: там сумеют подкатить орудия и возьмут нас на картечь... Что делать тогда?

Предполагали разное. Только ясно было каждому, что тогда уже надежды на спасение мало: в узкой реке не повернуться неуклюжим судам, а идти вперед — значит еще дальше просовывать голову в мертвую петлю. Но что же делать?

Соглашались на том, что надо быстро причалить к берегу, сбросить подмостки и вступить в бой...

Легко сказать — «вступить в бой». Пока подплывали бы к берегу, неприятель всех мог перекосить пулеметным огнем: ему из камышей прекрасно видно, как на баржах вплотную, кучно расположились наши бойцы.

Они тоже не спали: теперь, когда отъехали от Славянской, уже по пути командиры объяснили им предстоящую операцию со всеми ее трудностями и опасностями, которые только можно было предвидеть. Где уж тут было спать — в такие ночи не до сна; глаза сами ширятся, и взоры вперяются в безответную тьму.

Прижавшись друг к другу, ребята во всех концах вели тихую прерывистую беседу:

— Холодно...

— Дуй в кулак — жарко будет.

— Дуй сам... Вот он как дунет — пожалуй, и впрямь отогреешься. — И красноармеец кивнул головою на берег, в сторону неприятеля.

— Близко он тут?

— Кто его знает... Говорят, везде по берегу ходит... Да вот тут, в камыше, лежит... Наши уехали искать...

— Кондра уехал?

— Он. Кому же? Все дыры тут знает...

— Парень — голова...

— Ну, куда ты... Мы с ним еще на ерманском были...

— Надо быть, нет никого — тихо что-то...

— Али тебе орать будут? Вот чикнут с берега — и баста.

— Нет, говорю — от Кондры ничего не слышно.

— Как же ты услышишь? Ироплан, што ли, прилетит?

— А што это иропланов, братцы, нет нигде?

— Как нет! Летают... Они за городом лежат, а летают, когда солнце чуть восходит — оттого и не видишь.

— Вот что... А отчего это они летают?

— Кто их знает: пару, надо быть, подпускают.

— У тебя табачок-то с собой?

— Да курить нельзя — тебе же ротный говорил.

— И верно... А в кулак, я думаю, пройдет, не видно.

Запротестовали сразу три — четыре голоса. Курить не дали.

— Скоро подъедем?

— Куда?

— А где вылезать надо.

— Как станем — значит, и подъехали.

Такие короткие, сдержанные разговоры шли на всех баржах.

Один вопрос цеплялся за другой — часто совершенно случайно, от слова к слову...

Все так же тихо, почти бесшумно плыли во тьме караваны судов. На заре, когда еще густым облаком стоял тяжелый речной туман, первый пароход причалил к берегу... Одно за другим подходили суда и врезались в прибрежные камыши и высокую траву.

До станции оставалось всего две версты. Зарослей на берегу не было, и открывалась широкая поляна, где удобно было разгрузиться и строить войска. Знатоки этих мест говорили, что более удобной пристани для разгрузки не найти, что эта поляна — единственная на всем протяжении от самой Славянской.

Живо побросали подмостки — и с удивительной быстротой все очутились на берегу. Лишь только вступили на твердую почву, вздохнули свободно и радостно: теперь — не на воде, теперь стрелки и всадники сумеют постоять за себя и даром жизнь не отдадут! Скатили орудия, свели коней. Командиры построили части. Во все концы поскакали разведчики. Нервность пропала и уступила место холодной серьезной сосредоточенности. Все делалось быстро, так быстро, что приходилось только изумляться. Бойцы понимали, как это было необходимо в такой обстановке.

Командиры верхами окружили нас с Ковтюхом. Два — три напутственных совета, и — марш по местам! Уж все готово. Отдана команда идти в наступление. Впереди рысью пошла кавалерия. Заколыхались цепи.

На долю Ганьки выпала задача промчаться метеором по улицам станицы, все рассмотреть и доложить. Он несся, словно птица, мимо густых садов, мимо домов с закрытыми ставнями, пронесся по главной площади, у храма, и, исколесив станицу, возвратился и доложил, что «все в порядке». Когда стали расшифровывать это замечательное «все в порядке», оказалось, что обреченная станица спит мертвым сном. Она ничего не ждет, ничего не знает. Кое-где по углам дремали часовые, они сонными глазами смотрели вслед скакавшему Ганьке и считали его, верно, за гонца с позиции. Жители тоже спали, только изредка попадалась какая-нибудь сгорбленная старуха казачка, тащившаяся с ведром к колодцу. Видел Ганька и аэроплан — он был на площади, у церкви. Видел за изгородью одного большого дома мотоциклетку и два автомобиля.

Когда он, запыхавшись и торопясь, все это пересказал, было совершенно ясно, что мы движемся, не замеченные врагом.

Удар был рассчитан на внезапность. Подойти надо было совершенно неожиданно, атаковать оглушительно. В то же время необходимо было создать впечатление навалившихся крупных частей, хорошо вооруженных, с богатой артиллерией. С другой стороны, нужно было организовать засады, неожиданные встречи, картину полного окружения и вселить в неприятеля убеждение в полной безнадежности положения. Эффект неожиданного удара должен был сыграть здесь исключительную роль.

В конце поляны, под самой станицей, остались еще целые полосы невыжженных камышей. Здесь пробраться было невозможно, и пришлось загибать, идти окружным путем. Разгрузка, сборы, приготовления, самое движение до станицы заняли около двух часов. Станица все еще не пробуждалась. Туман рассеивался, но медленно, и над рекой продолжал держаться таким же густым белесоватым облаком, как прежде. Протока у самого селения загибалась в западном направлении и вела на Ачуев, к морю. По берегу, до станицы и за станицей, шла езжая дорога. По этой дороге и направилась часть наших войск. Сюда же, глубже, во главе с Чоботом, отправлен был в засаду эскадрон кавалерии, которому была дана задача рубить неприятеля, если он в случае паники бросится бежать, спасаться на Ачуев.

Части десанта были расположены в своем движении таким образом и с таким расчетом, чтобы одновременно могли дойти до станицы с разных сторон и одновременно же открыть огонь.

Тогда же должна была загромыхать артиллерия.

Неприятельские силы, расположенные в станице, могли нам оказать стойкое сопротивление ввиду своей достаточно высокой боевой доброкачественности (мало надежными были только пленные красноармейцы). Там стояли части корпуса генерала Казановича: Алексеевский пехотный полк, запасный батальон того же полка, Алексеевское и Константиновское военные училища и Кубанский стрелковый полк. Кроме того, в станице был расположен главный штаб улагаевского десанта со всеми своими разветвлениями и другие, более мелкие, штабы и тыловые учреждения. При всем том следовало ожидать враждебных действий со стороны станичного населения. Ново-Нижестеблиевская была у нас на худом счету.

Около семи часов утра, когда части вплотную подошли к станице, раздался первый орудийный выстрел. Затем открылась оглушительная канонада: орудийные громы слились с пулеметным и ружейным огнем. Части шли вперед. Неприятель, не понимая в чем дело, совершенно растерялся и никак не мог организовать защиту. Открытый по нашему десанту беспорядочный огонь не приносил почти никакого вреда. Красная пехота напирала и одну за другою занимала улицы станицы. В центре пришлось столкнуться с неприятелем, готовым к обороне.

Наши батальоны в этом месте вел Ковалев. Он отлично понимал, как опасно теперь промедление. Он знал, что паника в неприятельских рядах может миновать, и тогда с неприятелем справиться будет нелегко. В такие минуты бывает достаточно одного находчивого командира, который властно остановил бы бегущих, который понял бы мигом, в чем корень дела, и уяснил бы себе отчетливо, как и с чего следует начинать — сию же минуту. Паника усиливается обычно множеством случайных и противоречивых приказов, которые отдаются сплеча и сгоряча: один приказ опровергает другой, запутывает, затуманивает дело. Именно в такой стадии бесланового метания находился теперь неприятель. Но уже были

первые признаки его начинающейся организации. Надо было ловить момент.

Ковалев отдает команду идти в атаку. Сам с винтовкою в руке остается на левом фланге. На правом идет Щеткин. У него так же широко открыты глаза, как и там, на барже, во время песни. Только теперь в них горят огни жестокого, беспощадного хищника. Весь лоб, до переносицы, перерезала глубокая складка. У Щеткина тяжелая поступь — он словно и не идет, а по заказу трамбует землю. Около него идти спокойно — родится какая-то твердая уверенность, что с ним не пропадешь, что Щеткина невозможно свалить с ног. Он отдает команду коротко, четко, сердито...

Неприятель сгрудился возле садов. Было видно, что он еще не выстроился как следует, что не нашлась еще могучая, организующая рука, которая смогла бы толпу превратить в стройные упругие цепи.

Скорее, скорее... К этой толпе отовсюду — из сараев, из холуп, из садов и огородов, по улицам и закоулкам сбегались солдаты. Толпа растет у нас на глазах. Она уже развертывается, принимает форму. Еще минута — и мы встретим стену стальных штыков, море огня — меткого, уничтожающего...

— Ура! — проносится по нашим рядам.

Винтовки наперевес, бойцы мчатся на толпу... Там замешательство. Многие кинулись бежать кто куда. Иные все еще продолжали стрелять... Почти все побросали винтовки и стояли, ждали с поднятыми вверх руками. Звенели кругом пули, то здесь, то там вырывая жертвы. Одним из первых, прямо в лоб, был убит Леонтий Щеткин.

Вдруг от плетня отделились человек пятьдесят и кинулись нам навстречу... Это заставило отпрянуть назад передовую нашу цепь. На минуту произошло замешательство, но Ковалев уже отдал новую громкую команду:

— Вперед, ребята, вперед, ура!..

И рванулись, как бешеные, красноармейцы... Опрокинули бегущих им навстречу белых солдат, смяли их... Дальше ничего не было видно...

Когда эта полсотня кинулась от плетня, те, что побросали винтовки, остались недвижимы и за ними не побежали: они стояли и ждали пощады с высоко вздер-

нутыми кверху руками. Красные бойцы окружили пленников. Живо отогнали их на другое место, стояли, не трогали... Брошенное оружие собрали, сложили в груду, а через несколько минут пригнали подводы, погрузили и увезли к берегу. Всюду, куда ни глянь, валялись раненые — стонали, хрипели, иные кричали от боли... Оказалось, что эти пятьдесят — шестьдесят белых солдат были частью офицерами, частью — алексеевцами. Пощады им не было ни одному.

Остальных пленных погнали к баржам.

Чобот, пробравшийся со своим эскадроном за станицу, проехал до самых камышей, спешил всадников и ждал. От него человек десять разведчиков протянулось, залегло цепью ближе к станице, и один другому передавал, как идут там дела, что видно, что слышно.

Пока бежали отдельные белые солдаты, Чобот не подымал своих ребят и не тратил зарядов, не обнаруживал своего местонахождения. Правда, отдельные беглецы сами запарывались сюда же, к камышам; их без криков задерживали, оставляли у себя... Но лишь только ковалевская атака решила дело, остатки гарнизона кинулись вон из станицы и прямо на дорогу, к реке, надеясь переплыть ее на лодках и спрятаться на том берегу. В эту минуту эскадрон вскочил на коней и кинулся из-за камышей на бегущих... Произошло что-то невероятное. Белые совершенно не ожидали нападения с этого края. Они шарахнулись в сторону, рассыпались по берегу и в большинстве побежали на то место, где прежде стояли лодки. Лодок не было. Чоботовы ребята увели их на другое место. Бежать было некуда. А всадники метались всюду среди беглецов и безжалостно их сокрушали, не встречая почти никакого сопротивления. Многие бросились в воду, надеясь вплавь добраться до того берега, но мало кому удалось доплыть: наш пулемет шарил по воде и нащупывал беглецов — большинство ушло ко дну Протоки. Возбужденный Чобот носился по берегу, он сам не рубил и не преследовал — только указывал бойцам, куда скрывался, куда бежал кучками ошалелый неприятель. Чобот все видел и разом замечал во все стороны, как метался враг и где он искал спасения.

Словно дикий степной наездник, скакал из конца в конец с обнаженной шашкой Танчук. Он уже давно

потерял шапку, и черные кудрявые волосы разметались по ветру.

Он не знал и не слышал никакой команды, сам выбирал себе жертву и бросался на нее, как коршун, мял и рубил без пощады. И когда уже все было сделано — шальная пуля своего же стрелка перебила Танчуку левую руку. Он не крикнул, не застонал — только выругался крепче крепкого и соскочил с верного Юся. Сеча кончилась...

Сколько побито здесь было народу, сколько сгибло его на дне Протоки — останется навсегда неизвестным. Только отдельные беглецы успели добраться до камышей и спрятаться за них — большинство же погибло во время бегства. Были случаи, когда белогвардейские офицеры переодевались в женское платье, пытаясь таким образом скрыться в камыши, но кавалеристы не пропускали никого, задерживали маскированных и «оставляли» их здесь же на месте. Через два часа станица была в руках красного десанта.

В начале боя с церковной площади поднялся неприятельский аэроплан и полетел в направлении на Ново-Николаевскую [1]; где были расположены белые части. И во время боя и после него из станичных садов и огородов, с чердаков крыш, из-за копен сена и из высокой травы то и дело летели шальные пули: так недружелюбно встречала станица красных гостей.

В этом утреннем бою захвачено было около тысячи пленных, человек сорок офицеров, бронированный грузовой автомобиль, пулеметы, винтовки, снаряды, обозы с медикаментами, печати, канцелярии, личные офицерские документы и т. д.

В это время пароходы и баржи подошли к самой станице. Были погружены пленные и трофеи; тут же толпились с носилками раненых красноармейцев, пострадавших большей частью в штыковой атаке.

Дальше было совершенно ясно, что неприятель, получив известие от летчика о катастрофе в тылу, постарается или сняться совершенно, или послать в станицу сильную часть, которая могла бы управиться с красным десантом.

Неприятель выбрал первое: снял с позиции свои части

[1] Верст 25—30 на восток.

и от Ново-Николаевской (а затем и других пунктов) тронулся на Ново-Нижестеблиевскую, опасаясь быть окончательно отрезанным от моря. Здесь у него была единственная дорога на Ачуев, и он торопился по ней пройти, пока красный десант не закрепился здесь по-настоящему и еще не пополнен новыми, может быть плывущими сзади, частями.

Фронт неприятельский в это время находился по линии станиц: Чортолоза, Старо-Джирелеевская, Ново-Николаевская, Пискуново, Башты, Степной и Чурово.

Уже дрогнула неприятельская позиция, снялась она и быстро покатилась к морю. Неприятель попятился назад, а тем временем главные наши силы, стоявшие против неприятельских позиций, стали подгонять и колотить отступающего к морю врага. В станице, занятой красным десантом, бой не возобновлялся до тех пор, пока из Ново-Николаевской не подошли новые белые части.

Первыми из них пришли Сводный Кубанский кавалерийский полк, Полтавский пехотный и Запорожский полки, неизвестная часть генерала Науменко и части кавалерийского корпуса генерала Бабиева, среди которых был и волчий дивизион Шкуро. Красному десанту было чрезвычайно трудно сдержать напор таких крупных сил; его задачей было теперь во что бы то ни стало продержаться до подхода главных своих сил, все время тревожить неприятеля, расстраивать его движение, беспокоить его частичными боевыми столкновениями и держать в напряжении. В полдень под напором превосходящих сил нам пришлось очистить две крайние улицы, идущие с востока на запад: по этим улицам пошли главные силы неприятеля. Снова завязался бой.

Неприятель ввел в работу два бронированных автомобиля. Но положение его было в общем весьма сложное: напирая на красный десант, он в то же время не мог сосредоточить на нем свое исключительное внимание и дать в станице основательный бой; этого не мог он сделать потому, что по пятам гнали и наседали на него главные наши силы, снявшиеся вслед за ним со своих позиций. Уже слышалась в отдалении, со стороны Ново-Николаевской, артиллерийская стрельба; это были батареи красной бригады, торопившейся объединить свои действия с действиями красного десанта. Около четырех

часов у станицы скопилось много вражеских сил. Видимо, там решено было покончить с красным десантом и сбросить его в Протоку. Неприятель открыл ураганный артиллерийский огонь и цепями пошел в наступление. Это активное и стремительное движение заставило нас попятиться к реке.

Вот красные бойцы оставили поляну, отошли за речку, а неприятель все идет и идет.

Было ясно, что при дальнейшем отступлении десант может погубить себя целиком.

Командир артиллерии Кульберг уже целых три часа не слезал с дуба. Он примостился там, подобно филину, на верхний сучок, приник потным лбом к сырому холодному стволу и все смотрел в бинокль, как падают наши снаряды. Батарея стояла тут же, в нескольких шагах, и Кульберг с дуба корректировал стрельбу, отдавая команду.

— Трубка сто, прицел девяносто пять... Трубка сто, прицел девяносто семь!..

И когда чудовище ухало, а снаряд с визгом и стоном вырывался из жерла, Кульберг покрякивал и рукой махал в ту сторону, куда он скрылся.

— Отлично, отлично, — кричал он сверху, — в самую глотку засмолило. А ну, еще такого же... Да живее, ребята, живее... Ишь, побежали! — И он взглядом, через бинокль, впился в окраину поляны, где взметнулись столбы пыли, а от них шарахнулись в разные стороны и побежали люди.

— Еще стаканчик! — продолжал он покрикивать сверху, когда артиллеристы спешно заряжали орудие: один подавал снаряд, другой его загонял в дуло, третий давал удар. Так в лихорадочной пальбе Кульберг забывал о времени, об усталости, забывал обо всем... И теперь, когда неприятель шел в наступление и подходил ближе и ближе к тому месту, где стояла наша батарея, Кульберг и не подумал тронуться, не шелохнулся, словно прирос к дубовому сучку.

Все резче, все порывистей его приказания, все чаще меняет он прицел, громче отдает команду... А возле орудий — запыхавшиеся, усталые артиллеристы; еще живее, чаще падают снаряды, бьют по идущему врагу...

На лугу, у выхода к Протоке, там, где сходятся две дороги, неподалеку от камышей были выстроены пуле-

меты, и пулеметчикам была дана задача — или погибнуть, или удержать наступающие цепи врага.

Пулеметные кони повернуты мордами к реке. На тачанках, за щитами, согнулись пулеметчики. Мы сзади их верхами удерживаем отступающие цепи. Вижу Коцюбенко — он словно припаян к пулемету, уцепился за него обеими руками, шарит, проверяет дрожащими пальцами, все ли в порядке.

Неприятель на виду, он так же неудержимо продолжает двигаться вперед.

Ну, молодцы-пулеметчики, теперь на вас вся надежда: переживете — удержимся, а не сумеете остановить врага — первые сгибнете под вражьими штыками!

Как уже близко неприятельские цепи! Вот они прорвутся на луговину...

В это время, в незабвенные трагические минуты, когда десант держался на волоске, пулеметчики открыли невероятный, уничтожающий огонь.

Минута... две...

Еще движутся по инерции цепи, но уже дрогнули они, потом остановились, залегли... И лишь только подымались — их встречал тот же невероятный огонь...

Это были переломные минуты — не минуты, а мгновенья. Красные цепи остановились, подбодрились и сами пошли в наступление. Неожиданный оборот дела сбил неприятеля с толку, и белые цепи начали отступать. Положение было восстановлено.

В это время над местом, где находились неприятельские войска, показались барашки разрывающейся шрапнели. Нельзя описать той радости, которая охватила бойцов и командиров, увидевших эти белые барашки от огня своей красной бригады: это свои шли на подмогу, они уже совсем недалеко, они не дадут погибнуть нашему десанту...

Ободренные и радостные, красноармейцы снова начали тревожить проходящие неприятельские войска.

Так продолжалось до самой ночи, до темноты. Пытались было связаться с подходившей красной бригадой, но попытки оказались неудачными: между десантом и подходившими красными частями были густые неприятельские массы. Плавни и лиманы не позволяли соединиться обходным путем.

Неприятель на ночь решил задержаться в станице, дабы дать возможность дальше к морю отойти своим бесконечным обозам.

Красный десант решил произвести ночную атаку.

За церковью, неподалеку от станичной площади, в густом саду Чобот спрятал в засаду свой эскадрон. Ему опять предстояло дело в новой обстановке, в глухую полночь. Бойцы расположились в траве, лежали молча.

Кони были привязаны посредине сада к стволам черемушника и яблонь. На крайних деревьях, у изгородей — всюду попрятались в ветвях наблюдатели. Чобот ходил по саду из конца в конец, молча посматривал на лежащих бойцов, на коней; проверял сидевших на сучьях дозорных.

Над ручейками и дальше по аллее залегли наши батальоны. Все были уже оповещены о готовящейся ночной атаке. Мы с Ковтюхом лежали под стогом сена, позвали к себе командиров, устроили маленькое совещание. В это время с парохода притащили большой чугун с похлебкой, — поднялись, уселись кружком, как голодные волки, накинулись на еду — с самого утра во рту не было «маковой росинки». Бойцы, стоявшие возле стога, подвигались ближе и ближе — похлебка брала свое и притягивала, словно магнит. Только вот беда — ложек нет: двух паршивеньких, обглоданных на всех не хватало. Но и тут умудрились: кто ножом, кто деревянной, только что оструганной, лопаткой заплескивал из котла прямо в рот. Скоро весь котелок опорожнили вчистую. Закурили. Повеселели. Приободрились.

Ровно в полночь решено было произвести атаку, а эскадрону, спрятанному в саду, поручалось в нужную минуту выскочить из засады и довершить налетом панику в неприятельских рядах.

Отрядили храбрецов, поручили им проползти в глубь станицы и в двенадцать часов поджечь пяток халуп, а для большего эффекта, лишь займется пожар, кидать бомбы.

С первыми же огнями должны разом ударить все орудия, заработать все пулеметы, а стрелки, дав по нескольку залпов, должны громко кричать «ура», но в бой не вступать, пока не выяснится состояние противника.

Наступили мертвые минуты ожидания. Кругом тишина — и у нас тишина, и у неприятеля. В такую темную

ночь трудно было ожидать атаки. Люди, казалось, ходили на цыпочках.

Разговаривали шепотом. Все ждали.

Вот задрожали первые огни, взвились из станицы красные вестники, разом занялось несколько халуп...

В то же время до слуха красных бойцов донеслись глухие разрывы — это наши поджигатели метали бомбы. Что получилось через мгновение — не запечатлеть словами. Ухнули разом батареи, пулеметы заговорили, заторопились, залпы срывались один за другим.

Какое-то ледяное безумное «ура» вонзилось в черную ночь и сверлило ее безжалостно. «Ура!.. ура!..» — катилась на станицу страшная угроза. Неприятель не выдержал, побросал насиженные места и кинулся бежать. В эту минуту из засады вылетел спрятанный там кавалерийский эскадрон и довершил картину. При зареве горящих халуп эти скачущие всадники с обнаженными шашками, эти очумелые, заметавшиеся люди казались привидениями. Неприятель сопротивлялся беспорядочно, неорганизованно: открывал пальбу, но не видал своего врага, пытался задержаться, но не знал, где свои силы, как и куда их собрать. Недолго продолжалась уличная схватка. Станица снова была полностью очищена. Неприятель за окраиной распылился по плавням и камышам; только наутро собрался с оставшимися силами, но к станице больше уже не подступал, а направился к морю.

Еще ночью, тотчас после боя, в станицу вошли наши заставы, но весь десант вошел туда лишь на заре. Снова была пальба из огородов и садов, снова недружелюбно встречали станичники красных пришельцев...

Когда рассвело, стали собирать и отправлять на баржи новые трофеи: бронированный автомобиль, легковые генеральские машины, пулеметы, траншейные орудия, снаряды, винтовки, патроны...

К этому времени со стороны Николаевской вошла в станицу красная бригада, — ей и была передана задача дальнейшего преследования убегающего противника. Десант свою задачу окончил.

Весело, с песнями грузились красноармейцы на баржи, чтобы плыть обратно.

Каждый понимал, какое сделано большое и нужное дело. Каждый все еще жил остатками глубоко драматических переживаний...

Суда отчалили от берега... Громкие песни разбудили тишину лиманов и камышей. Мимо этих вот мест только вчера, на заре, в глубоком сивом тумане, в гробовом молчании плыли суда с красными бойцами... Еще никто не знал тогда, как обернется рискованная операция, никто не знал, что ждет его на берегу...

Теперь, плывя обратно, бойцы не досчитывались в своих рядах нескольких десятков лучших товарищей.

На верхней палубе «Благодетеля», на койке, лежит с раздробленной рукой бледнолицый Танчук и тихо-тихо стонет. В просторной братской могиле, у самых камышей, покоится вечным сном железный командир Леонтий Щеткин.

Когда вспоминали павших товарищей, умолкали все, словно тяжелая дума убивала живое слово. А потом, когда миновало и молчание, — снова смех, пение, снова веселая радость, будто и не было ничего в эти минувшие дни и ночи.

1921



ЕПИФАН КОВТЮХ

В половине 1917 года с Кавказского фронта расходились по домам полки царской армии. Епифан Ковтюх, находившийся в это время в Эрзеруме, получил какую-то незначительную командировку, но вместо того чтобы снова вернуться в далекую турецкую крепость, предпочел укатить на Кубань, где в это время уж грозно кипела революционная борьба. Приехал в Таманский отдел, в родную станицу Полтавскую, где жили родители старики.

Годы войны он провел на Турецком фронте, за боевые отличия с фронта уезжал в чине штабс-капитана...

Но офицерский чин не тронул, не изменил сырую и свежую натуру Ковтюха, не заразил его недугами гнилой офицерской среды; он ехал в станицу к привычной трудовой жизни — к хозяйству, к скотине, к земле... И начал бы снова пахать, если б волны гражданской борьбы не увлекли его с собою.

Первое время только присматривался и многого не понимал, не знал еще тогда, не видел, какой размах принимают события, что надо делать, куда идти... Трудовая, суровая жизнь, потом война; это бесконечное мотание по фронту не дали ему возможности столкнуться с книгами и людьми, которые разъяснили бы существо борьбы, историю этой борьбы, рассказали бы про большевиков, про другие партии... События нахлынули, как мутный поток, и в этом потоке он сразу не мог ничего рассмотреть, отличить, понять, разобраться по-настоящему... Но трудовое чутье подсказало верную дорогу... Станица Полтавская была одна из гнуснейших станиц: здесь кулацкое

казачество было спаяно особенно крепко, немало бед натворило оно за время гражданской войны на Кубани. Зато и неказачье, так называемое «иногороднее», трудовое население станицы объединилось уже с самых первых дней...

Надо помнить, что Кубань все время как бы распадалась на две половинки. Казаки, коренное население, считали себя господами положения, владели большими участками земли, жили наемной батрацкой силой. А наезжие — иногородние — шли на заводы, в мастерские, внаймы к богатому казаку или крепко маялись на жалких осколках земли... И глубокая вражда, взаимная ненависть кипели не стихая по городам, по станицам Кубани... Грянул гром революции, и казакам он был сигналом борьбы за «свободную Кубань», борьбы за то, чтобы на Кубани остались одни казаки.

Гром революции пробудил с новой силой у неказачьей трудовой Кубани страстную охоту сбросить ярмо, освободиться от гнета, зависимости, горькой нужды...

И началась борьба...

Тесно льнули к иногородним трудовые казаки, особенно те, что приходили с фронта, но тем ожесточеннее и злее рычала в негодовании упитанно сытая полудикая кулацкая Кубань... По станицам — где совет, где по-старому казачий атаман. Атаман правит и станицей Полтавской... Перепутались власти на Кубани, и уж чувствуют все грознее дыхание решительной битвы, знают, что двум властям не бывать, что только мечом одна другую положит на месте...

Идут недели и месяцы... За Октябрьскими днями и Кубань поняла, что подступают последние моменты, близится удар...

С Дона приехал Покровский, жестокий трусливый генерал; создается добровольческая армия. Кубанская рада — дитё тупых богатых казаков — мало-помалу теряет остатки власти, и офицерский произвол добрармии захлестывает Кубань...

Горячо работают большевики... Создается Областной совет народных депутатов — его на съезде своем выбирает иногородняя, трудовая масса Кубани... Потом — Военно-революционный комитет... Красные отряды... Первые открытые схватки. Это заполыхали кровавые языки

ожесточенной гражданской войны. Загорелась Кубань... Все быстрей, все неожиданней мчатся события. Железным шагом идет к победе трудовая масса...

Ковтюх живет в Полтавской. То и дело собираются у него станичники-соседи, приезжают ребята фронтовики из других станиц, держат совет, как бороться против кулацкого нажима, против разнузданной офицерской вольницы... Готовятся и другие станицы, готовится вся Кубань, но в Полтавскую долетают об этом лишь глухие короткие слухи...

Откуда-то сдалека прорвался в Таманский отдел красный партизанский отряд... В нем все больше солдаты-фронтовики, насмерть порешившие бороться с белым офицерством... Пришли в Полтавскую. Узнали, что Епифан Ковтюх — из офицеров царской армии. Не разобрали, не узнали — порешили расстрелять...

— Я же свой, товарищи.

— Какой ты свой, офицерская морда!.. Выходи!..

Под окнами ватага позванивает грозно штыками. В хате вопят благим матом очумевшие от ужаса старики, голосит и плачет и молит о пощаде молодая жена Ковтюха.

— Выходи, а то на месте!..

Захолонуло сердце.

— Значит, пришел конец, — решил Епифан, а тем временем мальчишку садами послал бежать к станичникам, торопить на помощь.

Прибежали братья, набежало народу кругом, сгрудились, прижали отрядников.

— Ах вы, подлецы! Это своего-то брата солдата!.. Да какой он офицер? Марш... марш... не то всех на месте!

А сами прут-напирают — кто с винтовкой, кто с револьвером, у кого шашка блестит, готовая в дело.

Отхлынули отрядники — задом-задом, вон из станицы, так и пропали...

— Ну, ребята, спасибо за помощь, — обратился Ковтюх к товарищам. — Только после этого разу полно думку думать, куда идти да што нам делать. Дело совсем теперь ясное... надо в отряд. Я предлагаю создать Полтавскую красную роту.

Дружно, согласно гуторили. Кто и поспорил, кто и не хотел — «каждый, мол, сам по себе сумеет», — а под конец согласились на роте. И с тех пор командир Таманской красной роты, Епифан Ковтюх, пошел на открытую борьбу, все годы гражданской войны метался по фронтам, вынес боевую муку и до наших дней остался в Красной Армии...

Полтавская рота скоро влилась в большой отряд Рогачева. Этот отряд объединял собою несколько мелких отрядов, бойцы которых все время жили по станицам и только на клич собирались, шли воевать... Командир всех отрядов, широкогрудый матрос Рогачев, в штабе своем, станице Старовеличковской, зорко смотрел, откуда идет опасность. И лишь только подымалось восстание, он гнал гонцов во все концы, и по железной дороге, в повозках, пешком и верхом стекались отовсюду красные бойцы — часто с ребятами, с женами, со всем семейством, с домашним скарбом. Получали задачи — и шли выполнять...

Так, под командой Рогачева не раз ходил в дело со своею Полтавской ротой и Епифан Ковтюх.

Натиском красных войск скоро был выбит с Кубани генерал Покровский, войска его при отступлении наткнулись на таманские отряды и не раз были биты жестоко.

Кубань под советским стягом. Но неспокойны казаки. То здесь, то там подымаются они, убегают в плавни, кроются в камышах, налетают на мирные советские станицы, громят учреждения, расстреливают, вешают коммунистов. На усмирение снова и снова посылается рогачевский отряд. С ним об руку первым помощником всюду идет Ковтюх...

Мчатся дни, недели, месяцы... По осени белые войска заливают снова кубанские равнины и оттесняют Красную Армию. Она не в силах сдержать решительный натиск врага — с боями отступает, уходит на восток, на Белореченскую. Это уходят главные силы. Ими командует печальной памяти талантливый партизан Сорокин...

Таманцы отрезаны у себя на полуострове — выхода нет, кругом неприятель, выход только в море... И решились. Через клокочущее море восставших казачьих гнезд пробивают они себе дорогу на Новороссийск. Начинается знаменитый поход Таманской армии... Отступают не

только бойцы — с ними уходят и семьи, тянутся бесконечные обозы. Не хотят старики, ребята и женщины-мученицы оставаться на казацкий произвол.

Подходят красные отряды под самый Новороссийск, но здесь и турки, и немцы — дорога закрыта. Навалились грудью, сбили с толку врага своим неожиданным натиском, прорвались за город, на широкое шоссе, что идет по морскому побережью. Отступали, а по пути, вдогонку, неприятель прощается стальными гостинцами... И горами, ущельями, узкими тропками, и холодными росными ночами, и в солнечный кавказский жар, босые, голодные, измученные, без снарядов и патронов — шли они по Черноморскому побережью долгие недели, пока не выбились снова из Туапсе на кубанскую равнину...

С гор то и дело наскакивает неприятель, с моря бьют броненосцы, в пути на горных перевалах боем встречает Грузинская дивизия, но все преодолели герои таманцы, грозными ударами, нечеловеческим терпением и выносливостью, пламенным героизмом проложили они себе дорогу через горные хребты Кавказа... Войска разбились на три колонны, и с первой колонной во главе отступавших идет первым командиром Епифан Ковтюх... Вот она и Белореченская. Уж слышно, что совсем недалеко со своею силой Сорокин, но у Белореченской вражьи войска встречают крепким ударом... И этот удар превозмогли таманцы, пробились, соединились с главными красными силами... Но некогда было радоваться встрече, некогда отдыхать — таманцам дана задача брать Армавир. За Армавиром летит и Ставрополь... Удерживать нет сил — красные войска отступают в астраханские пески...

Это был мучительный, долгий путь. Тиф без жалости выкосил ряды бойцов, и по пути отступления одна за другой все росли и росли курганами широкие братские могилы...

Отступал и Ковтюх со своими таманцами. И сам заболел тифом — больной поехал в Москву. Здесь он не дает покою Реввоенсовету. Говорил, убеждал, что надо создать особую Таманскую армию... Ему дают это право. Едет Ковтюх в Саратовскую губернию и в городе Вольске основывает штаб. Сюда со всех сторон скоро начали стекаться таманцы. Набралось четыре тысячи. А полки таманские, разбросанные по другим дивизиям, командиры не отпускают, и никакие хлопоты, никакая настойчивость

не могли здесь помочь Ковтюху... Он скоро получает задачу идти на Царицын, там вливает свои части в 50-ю дивизию и становится во главе этой дивизии. Там, под Царицыном, были жаркие дни, но победа осталась за красными полками... Через Царицын дальше — на Тихорецкую, снова на родную Кубань, и бьются таманцы до тех пор, пока не освобожден Краснодар, пока не сдаются в Туапсе последние шестьдесят тысяч белой армии генерала Морозова... Кубань свободна. На Кубани советская власть...

Не поладил Ковтюх с командованием — уехал в Москву, а Москва пустила на отдых. Отдыхать — на Кубань, да не тут-то было. Врангель высадил на Азовском побережье десант, и быстро пошли белые войска по взбудораженным станицам, подошли на сорок верст к Краснодару.

В это время во главе IX Кубанской армии стоит славный, широко известный командир товарищ Левандовский. Он встретил сердечно Ковтюха, назначил его комендантом Краснодарского укрепленного района. Какой тут отдых, такие ли дни!

Было решено послать в неприятельский тыл красный десант.

Командиром десанта назначили Ковтюха, меня — комиссаром. И ночью поплыли снаряженные суда в туманную даль, на рискованное дело. Никто не знал — куда, зачем мы едем. Только знали мы вдвоем с Ковтюхом. Надо было сохранить глубокую тайну, иначе предупрежденный враг уложит нас огнем из прибрежных камышей. Плыли до Славянской. Здесь прибавили бойцов — всего набралось теперь тысячи полторы. До Славянской шестьдесят верст, а там, до Гривенской, где вражий стан, примерно столько же. Поздним вечером тронули из Славянской. Берегами шли наши конные разъезды — их разослал предусмотрительный Ковтюх. И недаром. За ночь сняли они не один неприятельский надзор. В предрассветном густом тумане подплыли суда к берегам, отряд выскочил живо на широкую поляну, согнали коней, сволокли орудия. Отсюда до Гривенской всего две версты, но спит мертвым сном неприятельский штаб, никак он

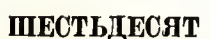
не ждет, не думает, что вырастет вот перед ним грозная неожиданная опасность...

Пошли цепями. Ударили орудия, сорвалась кавалерия, «ура, ура!» — загремели цепи... Неприятель в панике, ему не сдержать нашего крепкого удара. В налете с кавалерией участвует и сам Ковтюх. Он и здесь и там — он на коне мелькает из одного конца в другой... Повели к пароходам пленных... Расстреливали за околицей офицеров — кому их тут хранить, когда через минуту, быть может, сами будем сбиты. В деле все — до последнего бойца. С площади поднялся неприятельский аэроплан, полетел к своим на позицию — предупредить скорей, что с тылу, бог весть откуда, появились красные отряды, что надо скорей отступать... И белые отступали, а за ними гнались, били вдогонку главные силы Красной Кубанской армии, снявшиеся с места. Отступая, офицеры и курсанты ударили на красный десант и чуть не согнали к берегу, не утопили в реке. Но молодцы пулеметчики и огонь артиллерии взяли свое: они белые цепи громили и косили под самыми камышовыми зарослями. И наложили рядами офицерские тела — в смешных побрякушках, в блестках, в многоцветных погонах, в лакированных светлых сапожках, изящных френчах, оттопыренных франтовских галифе...

Натиск был сбит. Над станицей рвалась шрапнель, которую посылали батареи наших главных подошедших сил. Ночью, в зареве пожара, под вой канонады—последняя атака — и белые опрометью мчатся к берегам Азовского моря... Рано поутру погрузили отбитые броневики, пулеметы, снаряды — все, что досталось от бежавшего врага, поплыли обратно в Краснодар. Свое дело сделали. Удар нанесен был в самое сердце.

Кончилась боевая страда. Притихли бури гражданской войны. Обуяла Ковтюха нестерпимая охота ученья. Отпустили в Военную академию — и три года он жадно изучает военные науки. И здесь — как там, в бою, — мучительно, трудно пробивает путь, настойчиво рвется вперед, выходит твердой поступью на светлую широкую дорогу.

1923



ШЕСТЬДЕСЯТ

Я четвертый день лежу в лазарете.

Пустая холодная высокая комната, где по гнилому дырявому полу разбросано четыре пучка соломы.

Стулья и столы увезены в штаб, а скамейками подтапливают печи.

Лежим мы — шестьдесят — под шинельками, укрываемся, торопимся почаще дышать:

— Авось, теплее станет.

К стене бы, што ли, к шершавой привалиться, да там от сырости похлюпывают густые, слизистые капли, а между ними угрюмо и зловеще проползают стадами противные жирные серые мокрицы: омерзительно видеть брюхатых гадин, слушать, как они срываются со скользкой стены и, словно камни, шлепаются о пол...

Мне сказали, чтобы лежал спокойнее — тогда утихнет боль, засну.

А не могу я, три ночи, три дня не могу: перебитые кости вдавились куда-то в самую глубь, будто уперлись в сердце, притиснули его и никак не хотят отпустить.

Шрапнельный осколок прожег насквозь правую руку, и уж не знаю — рука ли так ноет: и ноги, и грудь, и сердце защемлено третьи сутки, ноющая боль расползлась во всем теле, и чем больше стараюсь я забыть про нее, тем больше думаю, и крепче, все крепче сжимает меня какими-то невидимыми цепкими клещами. Вот сосед мой, Никандров, щупленький русоголовый мужичок, он лежит — не движется: пуля вскочила в правый висок, а в левый умчалась, и вытекли у Никандрова оба глаза. Другая засела в животе, и я видал вчера, как доктор пощупал Никандрова, помотал головой и отошел, не сказав ни слова.

Конченный, не встанет.

Я вижу, как у него опустились, запали над губой рыжие влажные усы, а тощая бесцветная бороденка свернулась на сторону, перемазанная и склеенная грязью, кровью и густыми предсмертными слюнями. На лице, желтом и масленом, как вощеная бумага, только носик вздернулся — маленький и тонкий, какой бывает только у женщин. И вижу я, что самый кончик стал у него необыкновенно крут и сух — он, верно, холоден теперь, как оловянный.

Посмотрю я на Никандрова, подумаю: «Не жилец ты, дружина, отмаялся, сделал свое — теперь в отставку». И вдруг мне от мысли этой страшно сделается самому: «А ну, как и я?»

Может, с той стороны смотрит Бондаренко — сосед и думает обо мне те же мысли, что думаю я теперь о Никандрове.

Со жгучей болью спешу повернуться, опрокинуться на спину, чтобы взглянуть скорей в другую, в ту сторону... Но только двинусь — как вопьется колючими иглами, промчится миллионами жгучих молний нестерпимая боль.

И, остановив дыханье, замру, застыну и чувствую, как костенеет остановившийся взор, холодной дрожью зарябит лицо.

Два—три усилия — и грузно опущусь с локтя на колючую солому, распластаюсь спиной, словно вдавиться хочу в гнилой скрипучий пол, посмотрю на Бондаренко: до того ли ему, сердешному, чтобы меня еще рассматривать. Все нутро ему перетряхнуло, вывернуло потроха, и лежит он без движения, скрутился под дырявой короткой шинелишкой. На закрытые глаза словно гири ему положили пудовые, а когда раздвинет трудно и медленно сизые веки — оттуда чуть-чуть затеплятся огоньки потухающей жизни: так в густой осенний туман где-нибудь в глуши бледным светом мерцают далекие, затерянные во мгле фонари.

Побагровело от жару широкое скуластое лицо, встопорщились брови и щетинистые черные усы, будто их внутри что-то выпирало и дыбило, торчком... Я чувствую, как напряглось у него все тело, натужилось, словно пучит его и вот-вот разорвет на клочья...

И жаль мне Бондаренко, веселого Бондаренко, пер-

вого запевалу во взводе, любимого гармониста. А гармошка — где она? Кто поиграет без хозяина?

Посмотрю, подумаю про них про обоих, так плотно подступивших к могиле,—и будто легче станет, и изловлю я себя на злой и скверной, нехорошей мысли:

«Покрепче, мол, я-то: мне до могилы далеко...»

Лежишь и думаешь, лежишь и все думаешь, а о чем думаешь — и сам того не знаешь.

Три дня эти и три ночи — нет им ни начала, ни конца, заволоклись они в густую скользкую мглу, и не знаю, когда пришел сюда из мутной вяжущей этой мглы...

Только один последний бой у реки, у моста — его я помню хорошо. Помню, как сгрудились у переправы, заметались по тряским тонким дощечкам. И был такой момент, когда не двигались ни взад, ни вперед, каждый торопился вырваться скорее, выскочить на этот берег, спастись от бегущего по следам неприятеля.

Так нагрудились, что запрудили тощий мосток, а он не выдержал, рухнул в волны — и с криками, с воем полетели туда, звеня оружием, все, что за минуту перед тем бранились, толкались, рвались вперед, спасаясь от неминуемой смерти.

Тут подскакал Кумарь, комиссар:

— Ребята!—как крикнет нам.—Да что же вы, ребята, али себя погубить хотите? Спасаться некуда, отступать нельзя. Вперед надо, вперед, ребята! Даешь офицеров!..

Эх, как сорвались!.. Как запалили, помчались. Ну, да што ж...

Вот она тут, стерва, меня и сжарила, да чудной я какой-то стал, бежал, аж крови не вижу, не чувствую... Бежит Бондаренко и оземь сразмаху как рухнет сноном. Помнится, и мне тут сразу больно сделалось. Остановился приподнимать его, а рука уже онемела, вся кровью залилась, потащили нас, повели... И все из памяти вышло, перепуталось: и Бондаренко позабыл, только о себе думал, а потом и думать перестал, замутился...

Потонули ребята — мало, говорят, до берега пришло. А Кумарь молодец, тихий, нескладный, совсем не такой, как тут, на реке: «Аль, ребята, вы себя погубить хотите? Вперед, ребята!».

И не понимаю я — как это человек так преобразиться может, совсем другой делается, никак не походит на себя.

Придет в ячейку.

— Ты, — говорит, — Леонтий, на-ко сам почитай ребятам, а то я не больно мастер читать...

Газет принесет. Сидит — я читаю, и сам слушает... А спрашивать станут — его не спятишь, крепко стоит на своем.

И дальше лежу я — вспоминаю, как в мастерской, когда мы с ним еще молотками стучали, кто-то дураком его обозвал: «Ничего, — говорит, — дурак ты, Кумарь, не понимаешь», — а он ему так спокойно: «Когда, — говорит, — с мое будешь знать, так, пожалуй, и впрямь умным станешь, а то — ишь, как сорока, раскудахтался на воронье дерьмо»...

Мастерская вся со смеху так и повалилась. И с тех пор его никто уже дураком никогда не обзывал. Да... чего тут только ни вспомнишь, ни передумаешь на вонючей соломе. Оно бы ничего, да ноет крепко, да сна никакого нет. И вот все стонут, стонут ото всех концов и храпят смертельным храпом, визжат и плачут, лязгают зубами, просят, молят и стонут, все стонут, стонут... От этого смертного стона выдавилась вся жизнь из моего ноющего сердца, и воет оно, как пес бездомный, и хочется мне самому застонать жалобно-жалобно и протяжно.

Белым нежным привиденьем от шинели к шинели проходит неслышными шагами сестричка Катюша. И дверь отворила неслышно, и вошла с другого конца — тихо, будто робея, и движется беззвучно, словно большая снежно-белая теплая кошка. Я вижу, как она склоняется то к одному, то к другому, про что-то спрашивает, что-то делает, поправляет изголовья, одергивает шинели. У Катюши, кроме нашего, два таких же сарая-лазарета, и она целые сутки вертится волчком, повсюду успевая, и все торопится, все торопится, гонимая заботами. Замаялась, сбилась с ног. Мне утром сегодня рассказывал Кумарь, как она присела отдохнуть на подоконник, да тут же и уснула, голубушка...

Вот и ко мне подошла Катюша, но я ничего не сказал ей про то, что повалилась повязка, — мне жалко смотреть на ее крошечное усталое посеревшее личико, ясные кроткие голубые глаза, на маленькую худенькую фигурку Катюши.

Помню вечер: где-то за Доном в степи остановился полк.

Целый день визжали повозки в тучах густой, едкой пыли. Изморились. Теперь были рады отдыху, добрая половина полка уже давно храпела молодецким храпом, другие сидели кучками, балагурили. Я ушел за стоянку, лег в душистую высокую траву, задремал. И вдруг слышу, что откуда-то идут на меня шорохи по траве, где низко,— то тихо меж собой разговаривают:

— Ты не думай, Катюша, — говорил ей чужой голос, — не думай про то, не говори, что делать нечего, что пустое твое дело, лишняя... Нет лишних — все нужны. И ты нужна, да как нужна!.. Не все так будет тихо, как эти недели (а мы тогда на дело шли), придут времена, когда сама почувствуешь, как без тебя нам было бы тяжело. Горячка будет — и в той горячке ты узнаешь самое себя... Не торопись, Катюша, решать — никогда не торопись...

Они тихо прошли в стороне, голоса пропали, и больше я ничего не слыхал. Но узнал Кумаря, только не хотелось нарушить у них добрую беседу, и я затаился, как мышь во ржи, пропустил их мимо, а сам еще долго лежал в траве, пока не скрылись они вконец, лежал я и думал, как хорошо Кумарь ей сказал: «Лишних нет — все нужны, Катюша».

Хорошо сказал...

После того стал я замечать, что между ними не все спокойно: как встретятся, увидят друг друга — заблестят глазами, зарадуются...

И самому мне любо было смотреть на их встречи, будто и мне перепадала частичка этой радости. Вот и про Катюшу теперь передумал все... Ах, опять, опять...

Покатились волною новые стоны. Я заметил, пока лежу, что стонут часто даже не от боли, а один от другого: только стоит начать где-нибудь из угла — и за ним, цепляясь и прилипая, растут, множатся, все выше, все невыносимей, все тягучей расползаются хриплые и плачущие стоны.

А потом опять поутихнут, примолкнут один за другим, и так сведется все, что перекатывается одно только ровное тихое стонущее поплакивание. Будто устали и несколько мгновений, а может, и минут — все отдыхаем под тихие стоны. Но разорвет снова тишину эту какой-нибудь крик, а за криком уж катится, бьется ответная

волна, и вся комната переполняется воем, плачем, хрипом и заливчатым торопливым кашлем — со свистом, с бранью, со слезами... Кто еще в силах подняться — сядет, опустит в колена голову и шарит бессмысленно солому вокруг, исподлобья взглядывая сюда и туда тусклыми полумертвыми глазами — ищет не то сочувствия себе, не то помощи:

— Скоро ли, скоро ли...

Или шинели станут сдергивать, гневно и торопливо отбрасывая их в стороны, или охая, бранясь и умоляя, — трудно перевертываться с боку на бок. И снова поутихнет. Так дни и ночи, ночи и дни... Меня здесь считают «легким», а перебитая рука не дает подняться.

Но приходит так, что не могу больше лежать... Вот и сейчас не могу. Сцеплю я зубы — с боку на локоть, с локтя сяду, а там... приподымусь как-нибудь, подойду к мутному окошку: нестерпимая охота взглянуть, что там делается теперь, на воле.

А на воле мутная осенняя сумеречь, и видно мне, как подпрыгивают, кувыркаются серые шинели, бегают ребята в разные стороны. И вижу еще, как у серого низкого забора сжалась тощая мокрая собачонка.

Вошел Костюков — санитар. Я люблю его, чужого парня, без имени (не знаем мы его имени), такого медленного в движениях, молчаливого, будто сердитого...

Но знаю, что он не сердит, совсем не сердит: он так же тихо, как всегда, выносит от нас всякую мерзость, и по лицу видно его, широкому и доброму, вижу я, что он совсем не сердит.

Хочу заговорить, да жаль расклеивать его молчаливые, плотно сомкнутые губы: пусть молчит.

И о чем говорить?

Самому помолчать бы теперь в тишине... А стоны, стоны — ах, эти стоны! Кажется, будто и сам я стону, и все тело мое стонет, позванивает, похрустывает, скрипит...

Так хорошо бы теперь побыть в тишине!

Сумерки влажным мохнатым покрывалом опустились к соломе. На улице жгут костры, и отсветы бледнорозовые тенью припали к стене.

Я лежу и думаю о чем-то неясном, не пойму, о чем эти думы: что-то прослышали — отступать будто станут, а мы здесь... Зачем же здесь? Как в степи, давно: отступали и побросали в горячке половину и раненых растеряли, не всех привезли.

В степи... Да. Вот она степь, как сейчас вижу... и станицы... Бабы молоком поили... Молоко-то — эх, хорошо бы теперь! А может, у костров и пьют. Мелькнуло, как глянул на розовую тень: туда бы, к ребятам...

Вот Костюков плывет, как привиденье: он нелепо вздергивает ноги, боится задеть кого на полу... Пропал в дверях...

Ой, как дернуло...

А все-таки потише сегодня, не так ноет...

Да не сказать ли Катюше, как зайдет: пускай подкрутит.

И какие глаза у нее, у Катюши, добрые...

Мысли вдруг перепутались, комната почернела, будто вся насытилась смоляными густыми парами — усталость брала свое... Но сквозь дрему вижу я, как тихо растворилась дверь — вот эта, что поближе ко мне, — растворилась и прикрылась...

Вполз кто-то серый в шинели и пробирается прямо на меня... Что это, сон? Я тряхнулся — не сплю. А серый подполз к лицу, посмотрел да тихо, без голоса — одним дыханьем продышал:

— Сакин — ты, што ли?

Я узнал Кумаря, хотел спросить, а он еще тише:

— Лягу тут рядом — все скажу.

Он вытянулся, как длинная серая веревка, от русого мужичка, от Никандрова — к левой руке.

— Дело, Сакин, есть. Ты молчи, я сам буду говорить...

Мне во тьме дрожко стало... Во сне, думаю, аль на самом деле.

Тронул его за палец — живой.

— Полк, может, и отойдет,— дохнул он мне в лицо,— сегодня ночью можно ждать налета. У них сила. Слышишь, Сакин, а?

— Чего же, — говорю, — слушаю я...

А так скорбно стало вдруг, будто веревкой сердце мне перетянули, и заныло, заныло.

— Как же, — спрашиваю, — неужто совсем?

— Не совсем, только все случиться может, понимаешь? Да я сам, если што, буду здесь. Перебежчик тут один сказал, что у них воевать не хотят, надо только поговорить с солдатами, — перевяжут офицеров... Я сам здесь: усы наклею. Оденусь — понимаешь? Тут ничего... А ты документы, — говорит, — брось. И билет. Дай разорву, а то, на грех, найдут...

Я потянул из кармана — отдал все Кумарю.

Тут больно заныла рука, сцепил зубы, застонал потихоньку...

— Ты молчи, — говорит, — Сакин, будто нет ничего, понимаешь? А я пойду.

И он опять смотался веревочкой, поднялся и тихо выполз за дверь.

Невмоготу мне лежать: приподнялся, встал у окошка и вижу, как тихо, одна за другой, мимо костров, проходят небольшие кучки...

Значит — думаю — верно все, уходят. И защемило: самому бы за ними, да перебитую руку тряхнуть нельзя.

Эх-ма, будь, что будет.

Повернулся к окошку спиной: не видать, думаю, легче...

А из соломы все охают да стонут без перерыва.

Глянул я в темноту и вижу, что глаза у всех высвечивают кружочками: значит, тоже не спят, думают, ожидают, может, вроде того, как я.

Мучительно долго тянется ночь. Никак не могу забыться, я весь в тревоге, и от этой тревоги все больше гудят и ноют перебитые кости.

Белым густым туманом стали вползать рассветные тени. А когда побледнели они и можно было различить на дальнем окне пробитую рогожу — откуда-то сдалека послышался сухой, короткий выстрел. Я вижу, чувствую, как дрогнули разом все, приподнялись, насторожились, зашумели соломой:

«Што-то будет, што-то будет?..» — верно, горело у каждого в мозгу.

И от этой немой тревоги, что передавалась друг другу, стало еще тяжелей.

Уже горохом рассыпались черствые, злые выстрелы, они все ближе, звучней, и мы чувствуем, как вместе с ними подползает, близится к нам что-то страшное.

— Ох, чего это там? — будто невзначай сорвался чей-то робкий глухой вопрос.

Будто только его и ждали — с разных концов заскакали тревожные слова:

— Отступают... А мы-то. А мы-то, неужто? От реки, што ли, а?

И спрашивали друг друга, и никто никому не отвечал — умирали без ответа голые вопросы: безнадежные, лишние, потерянные...

Вошел Костюков, и тогда вопросы помчались к нему.

— Не знаю... стреляют, — промолвил он угрюмо и, прижавшись лбом к стеклу, стал смотреть на пустую серую улицу.

Выстрелов больше нет. Оборвались. Но какой-то шум, которого не было прежде, все гуще, все настойчивее доносится до слуха.

Мы все еще ничего не можем различить, но каждый догадывается — не догадывается, а знает твердо, что с этим шумом ползет и близится то самое страшное, чего мы все так не хотим, не хотим...

Два—три человека поднялись было к окошку.

— Ложись, ложись, — пробурчал Костюков, не поворачиваясь от окна, — нельзя вставать...

И от этих простых слов проползла по сердцу острая жуть.

«Нельзя вставать... Нельзя вставать»... Всем почудился в словах этих какой-то неожиданный, новый, особенный смысл — и не вставали.

— Если што — тяжелых трогать не станут, — хрипнул опять как бы про себя Костюков.

И вдруг поспешно стали зарываться глубже в солому, а кто мог, выше, все выше, к самой голове натягивал короткую рваную шинелишку, обнажая пепельно-грязные босые ноги.

— Видно! — хрипло и мрачно, как ворон, каркнул Костюков. И это новое, всеми услышанное слово дрожью отдалось по сердцам.

Теперь никто больше не говорил, не было слышно слов: оханья, стоны, глубокие вздохи смешались в протяжное бессвязное мычание...

Еще не было никакой опасности, а все будто прятались от удара, собравшись неровными комочками, вытягивали серые грязные руки и прикрывали ладонями глаза, торопливо поглаживали волосы, торопливо одергивали шинели. Стоны замерли.

Станица была пуста — это уже знали все, не только я один. И теперь враг рыскает где-то около, но он еще робок, он не уверен, а вот когда он поймет...

Вдруг какие-то новые звуки, резкие, быстрые, сильные, ударили по слуху и уже не пропадали, все явственней, все ближе к нам.

Это топот копыт... скачут... сейчас, вот оно сейчас вместе с ними, этими звонкими звуками, подскачет к нам это мучительное неизвестное:

«Да или нет? Да или нет?»

Я чувствую, как занемела, окостенела вдруг моя левая здоровая рука, а ноющая боль в другой остановилась, как замороженная.

Тронул виски — холодная испарина. Бывал в бою, и много, а этого не знавал. «Что же, от руки, — думаю, — што ли?»

Нет, нет, это не то...

И я понял, что вся тревога наша, все гнетущее мучение неизвестности — все оно от круглой, полной беспомощности нашей: не опасность страшна, а эта вот детская слабость, которую каждый из нас чувствует, лежа здесь на соломе.

Там, под окнами, уж клокочут крики, ржанье, топот, лязг оружия.

По ступеням лестницы — слышим — вдруг загромыхало, застучало, затопало множество...

Дверь распахнулась, и грудой ворвались — и в черных лохматых шапках, с винтовками, с кинжалами в руках, озверелые, разъяренные...

Я всех ближе к двери — только с краю Никандров лежит, не движется.

Вот кинулись на середину, к окошку, на Костюкова:

— Чау, чау... ау... чау...

Они ревели что-то непонятное...

В это время сзади черным ястребом выросла новая фигура, я понял, что офицер. Он крикнул — и все остановились.

— Что тут, лазарет?

— Лазарет... Так точно, — чуть промолвил позеленевший Костюков.

— А, сволочь... — крикнул офицер и пнул лежавшего с краю Никандрова, укрытого шинелью.

Шинель соскочила в угол и обнажила маленькую костлявую, худую фигуру лежащего.

— Лежат — подлецы!..

Он, видимо, не знал, что бы крикнуть еще.

— Отвечаешь? Стервец...

Я быстро взглянул в открытое лицо соседу, на вздернутый острый носик и с ужасом понял все.

— Он... мертвый, — говорю офицеру.

Но тот уже не смотрел на Никандрова.

— Встать! — кричал он неестественным гортанным голосом. — Всех на площадь... Сучьи дети!

— Тяжелые тут... — робко, опустив голову, приблизился к нему Костюков.

Ни слова не сказал ему офицер, размахнулся и ударил Костюкова по лицу — тот зашатался, ударился о стену...

Мохнатые шапки запрыгали, они поняли, что дан сигнал: сверкнули шашки, колыхнулись винтовки.

— Стой! — крикнул офицер. — Всех на площадь! Ну!

И он грузно, с налитыми рачьими глазами, наступил на Костюкова.

Тот — ни жив, ни мертв.

— Ну! — еще раз крикнул освирепевший офицер и замахнулся оленьей нагайкой.

Мы все лежали без движения.

Тогда, от одного к другому перебегая, он старался пнуть в повязку и хлестал по шинелям с яростной, исступленной матерщиной.

Поднялись — кто мог и кто не мог — поднимались, падали, прислонялись к стене, падали и вновь подымались...

В хаосе стонов, раздирающих криков — с лестницы на волю.

Не все.

А с теми, что упали наверху, — остались страшные, свирепые, в огромных лохматых шапках: текинцы.

Эти же страшные и лохматые скакали взад и вперед,

оглядывались на нас, сверкали звериными, хищными глазами...

Я не ощущал больше ни страха, ни боли.

Странная была пустота во всем существе: полное отсутствие того ценного, важного и трепетного, что называется жизнью.

А тут —как в урагане — все мчалось, кружилось, кричало, звенело и топало, будто тяжкими гирями молотили по земле.

На площади, у церкви, остановили.

Я видел, как офицер подошел к другому, о чем-то поговорил коротко и быстро, и видно было по лицу, что он недоволен тем, что отвечал или советовал ему собеседник — рыжеусый низкий офицерик с веснушчатым сморщенным лицом.

Насколько тот был зол и свиреп, настолько этот рыжеусый был даже робок и как-то весь потерялся, оглядывался неуверенно и быстро по сторонам.

Я глянул на него — и мелькнула отдалённая надежда, что мы останемся нетронутыми, что этот рыжеусый веснушчатый человек непременно спасет от разъяренной толпы, от мохнатых текинцев и от черного злого коршуна-офицера — не позволит им учинить расправу.

Но вдруг высокий черный офицер плюнул злобно, махнул отрывисто рукой на собеседника и дико крикнул:

— Стройся!

Беспомощно и растерянно, не понимая того, что он кричит, смотрели друг на друга, топтались на месте, обходили один другого, сбиваясь в кучу...

Мохнатые шапки кинулись вперед, ухватили кому кто подвернулся в руки и притискивали в плотную длинную цепочку.

Быстро выбежала из-за церкви какая-то кучка и торопливо подступила к офицеру.

Среди них я узнал Кумаря: лицо его было, как бумага, на губах, на подбородке струилась кровь, и в ней прилипла черная смешанная пластинка — это запеклись в крови его оторванные черные усики...

Опять минуту о чем-то быстро и торопливо говорили, и видел я, как офицер махнул рукой на фонарный столб:

— Живо!

И обернулся к Кумарю.

— Наговорился, сукин сын? Выучил моих солдат? «Бей офицеров. Вяжи». Мы тебя... мерзавец, подвяжем! Ну!

Откуда-то вдруг пронзительно заверезжал нечеловеческий голос:

— Нет, нет, нет!.. Что вы делаете?.. Что вы?!

Я увидел Катюшу — с растрепанными волосами, совсем безумную, синюю от ужаса. Она над головой махала руками и только кричала:

— Нет... нет!.. Что вы... Нет...

Ее схватили за руки все те же мохнатые шапки, куда-то утащили, а издали все доносился, слабел смертельный вопль:

— Нет... нет!.. Что вы... Нет...

Кумарь смотрел в ту сторону, куда пропала Катюша, и мне показалось, что с окровавленных щек, одна за другой, у него скатывались мутные слезы...

Уже болталась на столбе крученая поганая веревка. Кумарь, нервно дрожа всем телом, одергивая торопливо разодранную гимнастерку, подошел к ящику, подставленному у столба, и я вижу, как он забрасывает колено, но не может никак удержаться — оно дрожит, срывается, не держится на тонких колеблющихся дощечках...

А лицо сурово-спокойно: нет на нем ни ужаса, ни потерянной робости.

Две мохнатые шапки подхватывают его за локти, подбрасывают вверх.

Сам берет Кумарь веревку, и она дрожит-дрожит, словно он собирается сейчас звонить в колокольчики, потом быстро всовывает голову в петлю и черными отклеившимися усиками на мгновение задевает веревку...

Мне шея у него показалась неестественно длинной, как у гуся, а приподнятые кверху руки неестественно худыми и жилистыми: я никогда не видал их прежде такими.

«Прощай, Кумарь», — только мелькнуло у меня в голове. Он будто почувствовал эту мысль, взглянул в нашу сторону скорбным, тяжелым взглядом, и хотелось ему, видно, превозмочь свое состояние — попробовал улыбнуться... Но улыбка была так страшна, что лучше бы ее не надо совсем...

Потом раскрыл медленно и широко рот — что-то хотел сказать:

— Това...

Офицер махнул огневой нагайкой, и две мохнатые шапки выбили ящик из-под ног Кумаря...

Он сразу крякнул, ухнул, будто куда провалился...

Все невольно враз махнули головами, как будто ожидая, что он очутится на земле.

Сразу натужились жилы, багрово-синим отливом заплыло лицо...

— Видели комиссара? — с омерзительной усмешкой крикнул офицер, обернув на нас выпученные оловянные рачьи глаза.

— А где еще? Большевики где? Кто тут среди вас большевики?

Все молчали, стараясь не смотреть друг на друга, не двигаться, вперившись взором в озверелое лицо этого дикого чужого человека.

— Большевики где... сволочи?!. Говори сейчас же! Скажете — всех помилую, а нет...

И он махнул нагайкой в сторону висевшего Кумаря.

Быстро все глянули на виселицу, на фонарный столб, но только на мгновение, а потом снова впились взорами в его жестокое, ястребиное лицо, как будто сами ждали от него ответа на этот вопрос.

«Скажут или нет? Скажут или нет?» — как молния, мечется у меня страшная мысль. Я знаю, что им известно... Пощады все равно не будет никому, но предательство...

И замер я, как каменный...

— Ну?! — заревел надорванный звериный окрик.

Все молчали.

Глубокое трагическое молчание.

Еще момент — и офицер махнул огневой нагайкой — только этот момент и был последним в моей памяти...

Кинулись мохнатые шапки, сверкнули шашки — все смешалось, пропало из виду... Я опустился в какую-то мутную, туманную гущу...

. . . .

Через две недели в лазарете, когда очнулся, мне рассказали, как, получив подкрепленье, наш полк ворвался и отбил станицу и из груды зарубленных красноармейцев отходил нас четверых.

ПАШКА СЫЧЕВ

Помнится мне, сквозь завесы черного дыма пулеметы врага косили по нашим цепям. И падали бойцы, выбывая один за другим, разрежая ряды. В лихорадочном гуле и свисте снарядов не было дела до жизни человека, и кто упал, кто в клочья разорван снарядом — того не знали. Одни оставались недвижны кусками кровавыми в поле, других кто-то с тылу тащил к повозкам, и там их грузили спешно, привычно перебрасывали с рук в руки, как грузят из вагонов арбузы или огромные караваи жухлого, крытого плесенью хлеба. Сгружали, теснили по двое, по трое на колючую солому повозок, увозили прочь с поля.

Всем, кто грузил и кто увозил, было тяжело смутной болью — разом за всех и ни за кого особо.

Хмур и суров стоял командир полка, отдавая приказания крепким и кратким словом, молча вскидывал взор на мертвые возы, что-то метил в походную книжку.

— Убили ротного, Гришука! — сказал кто-то тихо и жутко.

Командир полка дрогнул мохнатой бровью и не сказал ни слова — стоял и молча метил бледные книжные листочки.

— Убили двух батальонных! — коротко рванул страшный крик.

Вздрогнул командир, но остался на месте, сказал, как надо было сказать, сменил двоих и снова стоял — метил книжку, глядел на мертвые возы.

И вдруг не своим кто-то голосом пронзительно взвизгнул над ухом командира:

— Разведчика Пашку Сычева убили!
— Как убили? — резко вскрикнул командир.
— Убили наповал! — словно кувалдой ударил голос.

И я увидел в широких вдруг потускневших глазах сурового командира слезы; они сбежали торопливо на щетинистые небритые щеки и там пропали. Это было только на миг. А потом он, как прежде, стоял на посту, отдавал приказания, метил книжку, следил за возами с бойцами, снарядами, ловил летучие вести — делал то, что надо делать такому, как он, в бою.

И когда я спросил потом командира, отчего он слезою в бою помянул Пашку Сычева, малого разведчика, отчего легче принял вести о том, что побиты ротные, батальонные командиры, когда я вспомнил ему, что Пашка Сычев — озорной буян, что Пашка не слушал никогда команду, что Пашке нельзя было много вверить, — когда я все сказал командиру, он проникновенным взором посмотрел мне в глаза и ответил:

— А ты свежее нутро у Пашки чуял?

И, не дождавшись моего ответа, добавил:

— Из Пашки я себе готовил смену — он был крепче и ротных и батальонных, хоть верные были они ребята. Пашка не взнуздан — это верно, зато силу большую имел человек у себя в нутре. И я эту силу в нем сощупал, приметил, я бы той силе и линию дал. Пашкина сила линию одну и ждала. Ан, не вышло. Батальонных, на место тех, других сыщем, а вместо Пашки вот — поискать... Да и не найдешь... Потому — хоть чумной, да редкий они народ...

И с большой тоской в сухих глазах положил командир отяжеленную голову на крепкую широкую ладонь. Мы с ним больше про Пашку Сычева не говорили.

Но теперь, когда я встречаю в жизни такого, как Пашка Сычев, я гляжу ему в глаза со строгой любовью и думаю и мыслями говорю ему:

...Из камней самоцветных самый прекрасный тот, которому даст человек прекрасную оправу. И каждому Пашке Сычеву, сверкнувшему ядреными, свежими силами, как камню оправа, верная нужна линия. Камень без оправы — как младенец новорожденный, Пашка Сычев без пути — как стрела в колчане!

ФРУНЗЕ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Помню я — Иваново-Вознесенск, 1917 год, жуткий голод, неисходную безработицу, армию раздетых, голодных ткачей. А наряду с тем — кипучая работа в фабзавкомах, закреп советской власти, строительство новой, красноткацкой Иваново-Вознесенской губернии: из кусочков Владимирской, Ярославской и Костромской надо было сшить свою, текстильную. Фрунзе в те дни работал председателем шуйского совета. И его вызвали в Иваново — на это новое большое дело. В конце года были съезды, на этих съездах и решали вопросы организации губернии. В работах съездов первая роль принадлежала Михаилу Васильевичу Фрунзе.

Я первый раз увидел его на заседании и запечатлел в памяти своей добрые серые глаза, чистое бледное лицо, большие темнорусые волосы, откинутые назад густой волнистой шевелюрой. Движенья Фрунзе были удивительно легки, просты, естественны — у него и жестикуляция, и взгляд, и положенье тела как-то органически соответствовали тому, что он говорил в эту минуту: говорит спокойно — и движенья ровны, плавны, и взгляд покоен, все существо успокаивает слушателей; разволнуется — и вспыхнут огнями серые глаза, выскочит по лбу поперечная строгая морщинка, сжимаются нервно тугие короткие пальцы, весь корпус быстро переметывается на стуле, голос напрягается в страстных высоких нотах, и видно, как держит себя Фрунзе на узде, как не дает сорваться

норову, как обуздывает кипучий порыв. Прошли минуты, спало волненье — и снова кротки и ласковы серые глаза, снова ровны, покойны движенья, только редко-редко вздрогнет в голосе струна недавнего бурного прилива. Я запечатлел образ Фрунзе с того памятного первого заседания в семнадцатом году, и сколько потом ни встречался с ним в работе, на фронтах ли — я видел всегда его таким, как тогда, в первый раз: простым, органически цельным человеком.

От общения с ним, видимо, у каждого оставался аромат какой-то особой участливости, внимания к тебе, заботы о тебе — о небольших даже делах твоих, о повседневных нуждах.

Недаром и теперь, когда встал он на высочайшем посту народного комиссара, — и теперь ходили к нему на прием вовсе запросто и блузники-ткачи и крестьяне-лапотники, шли к своему старинному подпольному другу, к Мише, которого еще по давним-давним дням знали и помнили как ласкового, доброго сероглазого юношу.

1925



ТОВАРИЩ М. В. ФРУНЗЕ ПОД УФОЙ

В весенние месяцы девятнадцатого года черной тучей повис над Волгой Колчак. Мы сдали Уфу, Белебей, Бугуруслан. У Бузулука, под Самарой, у Кинеля взад и вперед метались эшелоны, мялись на месте разбитые, упавшие духом полки.

Казалось, ничто уж не может теперь вдунуть живой дух этим войскам, потерявшим веру в себя.

Передовые разъезды Колчака рыскали в сорока верстах от Бузулука, выщупывали Поволжье, шарили наши части. Близились дни драматической развязки.

Круглые сутки в кабинете Фрунзе, в оперативном отделе, в штабе наших войск кипела страстная работа. Быстро снимались и сгонялись в глубокий тыл те красные полки, у которых наглухо схлопнулись боевые крылья. Вливали здоровые, свежие роты, ставили новых, крепких командиров, направляли из тыла в строй отряды большевиков, целительным бальзамом оздоровляли недужный организм армии; с других участков, с других фронтов перекидывали ядреные, испытанные части, в лоб Колчаку поставили стальную дивизию чапаевских полков. Гнали на фронт артиллерийские резервы, гнали ящики патронов, винтовки, пулеметы, динамит, гнали продовольствие хозяйственным частям: тыл поставили на колени перед фронтом — он в эти дни служил ему, как никогда. «Все для фронта» — и железной рукой проводили в жизнь этот мужественный лозунг.

У Фрунзе в кабинете совещанья, Фрунзе в штабе диктует приказы, Фрунзе в бессонные ночи никнет над прямыми проводами, Фрунзе тонкой палочкой водит по огромным полотнищам раскинутых карт, бродит в цвет-

никах узорных флажков, остроглазых булавочек, плавает по тонким нитям рек, перекидывается по горному горошку, идет шоссейными путями, тонкой палочкой скачет по селам, деревням: задержится на мгновенье над черным пятном большого города и снова стучит-стучит по широкому простору красочной, причудливой, многоцветной карты...

Около — Куйбышев, чуть крепит бессонные темные глаза, встряхивает лохматую шевелюру; они советуются с Фрунзе на лету, они в минуты принимают исторические решения, гонят по фронту, по тылу, в Москву, гонят тучи запросов, приказов, советов... И вместе с ними неразлучные, верные, лучшие, которых только выбрал, и знал, и любил Фрунзе: такие, как Федор Федорович Новицкий... Они в те дни провели работу, которую еще не узнала и не оценила история: это они ночи насквозь корпели над мучительно вздорными сводками фронта, вылавливали оттуда крупицы правды, отметали паническую или восторженную ложь, из этих крупиц составляли какую-то свою, особенную и мудрую правду; это они давали сырье Фрунзе, Куйбышеву, чтобы из этого многоценного сырья крепкие головы отжимали самое нужное, из отжатого строили свои планы, из планов свивали грозную сеть, в которую должен был попасть Колчак. Кипел неугомонной, пламенной работой штаб.

Все понимали, какой момент, какая ответственность: здесь не здоровье, не отдых, не жизнь человеческая была дорога; здесь ставилась на карту сама Советская Россия. Бешеным потоком хлестала здесь через края творческая энергия этих удивительных людей: Фрунзе умел подбирать своих помощников. С Фрунзе не задремлешь — он разбередит твое нутро, мобилизует каждую крупинку твоей мысли, воли, энергии, вскинет бодро на ноги, заставит сердце твое биться и мысль твою страдать так, как бьется сердце и мучается мысль у него самого. Кто с Фрунзе работал, тот помнит и знает, с какой неистовой радостью он всего себя целиком, до последнего отдавал: и мысль, и чувство, и энергию в такие исключительные дни.

Крепко сжат был для удара по Колчаку железный кулак Красной Армии.

Фронт почувствовал дыхание свежей силы. Вздрогнул фронт в надежде, в нежданной радости. Вдруг и неве-

домо как перестроились смятенные мысли — полки остановились, замерли в трепетном ожидании решающих перемен.

И вот наступили последние дни: Фрунзе повел полки в наступление...

Как, неужели вперед? Неужто Красная Армия кинулась к новым победам?!

В необузданном восторге, круто обернувшись лицом к врагу, вдохновенные, строгие, выросшие на целую голову и не узнавшие себя, бурной лавиной тронулись вперед наши войска.

Вот сошлись с передовыми отрядами врага, легко и уверенно сбросили их назад. Крепла вера в себя. Вот снова ударились с грудью грудь — и снова отшибли вспять. Выросла вера в огромную силу. Вот первые трофеи, первые партии пленных, вот вести, что к нам перешел неприятельский полк, что дрогнул враг по всему фронту...

Вот они, первые вестники побед. О, какой радостью прокатились по красным полкам эти громовые раскаты первых победных дней. Все настойчивей, стремительней мчит вперед неудержимая красная лава. Уже за нами Бугуруслан, за нами Белебей, Чишма, — мы выходим на берег бурной Белой, перед нами высоко по горе раскинулась красавица Уфа. Вот он, ключ к сибирским просторам, вот он, город, который открывает широкую дорогу новым победам:

— Уфа должна быть во что бы то ни стало взята!

Колчак ушел за реку, он на нашем пути взорвал переправы, сжег запасы хлебов, фуража, изуродовал селенья — красные полки неслись пепелищами, голой ровенью уфимских просторов. Враг ощетинился на высоком уфимском берегу жерлами английских батарей, офицерскими полками, стальной изгородью крепких, надежных войск.

Фрунзе дал клятву взять Уфу, Колчак дал клятву въехать в Москву: две клятвы скрестились на уфимской горе. Уфу стремительно надо вырвать из цепких лап врага. Но как перейти эту бурную Белую, когда нет ни баржей, ни плотов, ни пароходов? Что эти лодочки, что эти бревнышки, стащенные нами к берегам, против уфимского моста? Нет, главным ударом надо бить не здесь!

Где-то у Красного Яра, верстах в двадцати повыше Уфы, наша кавалерия остановила в пути два пароходишка, груженных офицерами: пароходы взяли, офицеров утопили в Белой. Эти пароходишки и должны были сыграть невиданную роль. Живо построили плоты, стянули к Яру красные дивизии: первой пойдет Чапаевская, первым полком из чапаевских пойдет на тот берег Иваново-Вознесенский.

Вечером в Красном Яру совещанье всех командиров-комиссаров из стянутых к берегу частей. На совещанье — Фрунзе. Он тщательно взвешивает каждую мелочь, высчитывает, сколько часов в короткой июньской ночи, когда упадет в вечернем сумраке и снова займется заря, сколько можно бойцов вбить битком на пароходы и плоты, во сколько минут перебросят они на тот берег один, другой, третий полк... Взвешено все, узнана каждая мелочь — как на ладони весь план, как на ладони наши силы, наши возможности, выверены тонко и точно силы врага, предусмотрены жуткие случайности.

— Ну, ребята: разговорам конец, час пришел решительному делу!

И ночью, в напряженной, сердитой тишине, когда белесым оловом отливали рокотные воды Белой, погрузили первую роту иваново-вознесенских ткачей... По берегу в нервном молчанье шныряли смутные тени бойцов, толпились грудными черными массами у зыбких, скользких плотов, у вздыхающих мерно и задушевно пароходов, таяли и пропадали в мглистую муть реки и снова грудились к берегу, и снова медленно, жутко исчезали во тьму...

Отошла полночь тихой походью, в легких шорохах шел рассвет. Полк уж был на том берегу.

Полк перебрался неслышим врагом, торопливо бойцы полегли цепями: с первой дрожью сизого, мутного рассвета они, нежданные, грохнут на вражьи окопы.

Здесь, по берегу, всю команду вел Чапаев, командовать полками за рекой услал Чапаев любимого комбрига Ивана Кутякова. За ивановцами вслед должны были плыть пугачевцы, разинцы. Дамашкинский полк...

Наши батареи, готовые в бой, стоят на берегу, — они по чапаевской команде ухнут враз, вышвырнут врага из окопов и нашим заречным цепям расчистят путь... Время сжало свой ход, каждый миг долог, как

час. Расплетались последние кружева темных небес. Проступали спелые травы в изумрудной росе. По заре холодок. По заре тишина. Редеющий сумрак ночи ползет с реки.

И вдруг — команда! Охнули тяжко гигантские жерла, взвизгнула страшным визгом предзорная тишина: над рекой, и звеня, и свистя, и стоная, шарахались в бешеном лете смертоносные чудища, рвалась в глубокой небесной тьме гневная шрапнель, сверканьем и огненным веером искр рассыпалась в жидкую тьму.

О-х... Ох-х... Ох... х — били орудия.

У... у... з... з... и... и... — взбешенным звериным табуном рыдали снаряды.

В ужасе кинулся неприятель прочь из окопов.

Тогда поднялся Ивановский полк и ровным ходом заколыхал вперед. Артиллерия перенесла огонь — била дальнюю линию, куда отступали колчаковские войска. Потом смолкла — орудия снимали к переправе, торопили на тот берег.

Переправляли Пугачевский полк — он берегом шел по реке, огибал крутой дугой неприятельский фланг. Иваново-вознесенцы стремительно, без останову гнали перед собою вражью цепь и ворвались с налету в побережный поселок Новые Турбаслы. И здесь встали — безоглядно зарваться вглубь было опасно. Чапаев быстро стягивал полки на том берегу. Уже переправили и четыре громады-броневика — запыхтели, тяжко зарычали, грузно поползли они вверх — гигантские стальные черепахи. Но в зыбких колеях, в рыхлом песке побережья сразу три кувырнулись — лежали бессильные, вздернув вверх чугунные лапы. Отброшенный вверх неприятель пришел в себя, осмотрелся зорко, оправился, повернул к реке сомкнутые батальоны и, сверкая штыками, дрожа пулеметом, пошел в наступление. Было семь утра.

В четырехчасовом бою иваново-вознесенцы расстреляли запас патронов, новых не было, с берега свозили туго: пароходики грузили туши броневиков, артиллерию, перекидывали другие полки.

Иван Кутяков отдал приказ:

— Ни шагу назад. Помнить — бойцам надеяться не на что — сзади река, в резерве только... штык!..

И когда неприятель упорно повел полки вперед, когда зарыдали Турбаслы от пулеметной дроби — не выдер-

жали цепи, стали, попятились назад. Скачут с фланга на фланг на взмыленных конях командир, комиссар, гневно и хрипло мечут команду:

— Ни шагу... Ни шагу назад! Принять атаку в штыки! Нет переправ через реку! Ложись до команды! Жди патроны!!

Видит враг растерянность в наших рядах, — вот он мчится, близкий и страшный, цепями к цепям... Вот нахлынет, затопит в огне, сгубит в штыковой расправе...

В этот миг подскакали всадники, спрыгнули с коней, вбежали в цепь...

— Товарищи! Везут патроны... Вперед, товарищи, вперед! Ур-ра!!

И близкие узнали и кликнули дальним:

— Фрунзе в цепи! Фрунзе в цепи!

Словно током вдруг передернуло цепь. Сжаты до хруста в костях винтовки, вспыхнули восторгом бойцы, рванулись вперед, опрокинули, перевернули, погнали недоуменные, перепуганные колонны. Рядом с Фрунзе в атаке Тронин, начальник поарма. И первая пуля сразу пробила смелому воину грудь: теперь в том месте, где черная ранка, — золотой звездой горит на груди у него орден Красного Знамени.

Иван Кутяков вослед Фрунзе послал гонцов, наказал:

— Следить все время. Быть около. Живого или мертвого, но вынести из боя к переправе, на пароход!

Берегом уж гнали повозки патронов — их, ползком в траве, разносили к цепям, как только полегли они за Турбаслами. И, когда осмелели, окрепли наши роты, скакал возвратно к пароходу Фрунзе. Вдруг грохнуло над головой, и он вместе с конем ударился оземь: коня наповал, Фрунзе сотрясся в контузии. Живо ему на смену другого коня, с трудом посадили, долго не могли уговорить-совладать, чтоб отправить к пароходу, — он, полубеспамятный, уверял, что надо остаться в строю...

Чапаев командовал на берегу: всю тонкую, сложную связь событий держал в руках. Скоро и он выбыл из строя — пуля пробила голову. Взял командованье Иван Кутяков.

Жарок шел до вечера бой. Ночью искрошили офицерские батальоны и лучший у врага Каппелевский полк. Утром грозно вступили в Уфу.

Из двух клятв, что скрестились на уфимских холмах, сбылась одна: ворота к Сибири были распахнуты настежь.

Много ли вас осталось, бойцы уфимских боев? Я знаю — в страшном тифу, на безводье, в кольце казацких войск — вы долго бились на Урале, ходили вы и на панскую шляхту.

Не раз освежали заново ваши боевые ряды — сотни ткачей и пахарей полегли по степным просторам, полегли под губительным польским огнем.

Но те, что остались, — над свежей могилой помяните теперь прощальным словом своего боевого командира.

1925



ВСТРЕЧА В УРАЛЬСКЕ

Иваново-вознесенский рабочий отряд временно задержали в Самаре. Четверых отрядников, в том числе и меня, Фрунзе спешно вызывал в Уральск. Стояла глухая зима 1919 года. Красная линия фронта была под самым Уральском, что-то верстах в двадцати — тридцати. Мы ехали степями, на перекладных, и дивились на сытую жизнь степных богатых сел, деревень. После голодного Иваново-Вознесенска, где месяцами не давали хлеба ни единого фунта, где жили люди картофельной шелухой, а картошку ели взасос и на закуску, нам после этого сурового голода степная жизнь показалась сказочно привольной, удивительной и не похожей ничуть-ничуть на ту жизнь, которою жили мы вот уже полтора голодных года.

Было здесь и другое, что отличало степную жизнь от нашей северной: близкое дыхание фронта. Степь была, как вооруженный лагерь: она полна была и людьми, и лошадьми, и скотом, и хлебом — мобилизована для фронта. Здесь и разговоры были особенные — все про полки, про казачьи сотни, про недавние бои, про смерть близких людей. Попадались то и дело раненые, приехавшие в семьи на поправку. Мы остро чувствовали, что едем в новую жизнь.

Приехали в Уральск. Уральск — просторный степной город, в нем сгрудилось в те дни огромное количество войск: отсюда уходили полки на позицию, сюда приходили со смены, здесь отдыхали, чинились, подкреплялись и уходили снова. По городу грохотала непрерывная пальба, не то учебная, не то случайная — на удаль, как

здесь в то время говорили: «огонь по богу!» Помнится, встретились с одним из ближайших помощников Фрунзе, с Новицким Федор Федоровичем, он с ужасом заявил:

— Черт знает чего палят! И поверите ли, за сутки больше двух миллионов патронов ухлопают... Не взять еще сразу нам в руки — ну, да осмотримся, остепеним...

И в самом деле — остепенили: пальбу и весь этот вольный разгул утишили скоро, особенно же когда влились сюда иваново-вознесенские ткачи.

Мы, как только приехали в Уральск, заторопились увидеть Фрунзе, а он — на позиции. Мы его увидели только ввечеру. И, помним, рассказывал тот же Федор Федорович:

— Насилу его удержишь, Михаила Васильевича: все время выскакивает вперед... Мы уже спрятались за сарай, оттуда и наблюдали... а его все придерживали около себя... Да и бой-то вышел нам неудачный... чуть в кашу не попали...

Мы входили в комнату Фрунзе, он сидел, склонившись над столом, на столе раскинута карта, на карте всевозможные флажки, бумажки, пометки... Кругом в почтительных позах старые полковники — военные специалисты — обсуждали обстоятельства минувшего неудачного боя, раскидывали мысли на завтрашний день.

Фрунзе принял нас радостно, приветливо сжал руки, кивнул на диван, показал глазами, что надо обождать, когда окончится совещание. И потом, когда спецы ушли и мы остались одни, он подсел к нам на диван, обернулся из командующего старым милым товарищем, каким знали, помнили его по Иваново-Вознесенску, завел совсем иные разговоры — про родной город, про наши фабрики, расспрашивал, как живут рабочие, как мы ехали с отрядом, узнавал, какое настроение в степи, как мы сами тут устроились, в Уральске. Рассказывал про сегодняшний неудачный бой, про новую, замышляемую нами операцию, прикидывал, кого из нас куда послать... Мы просидели, проговорили до глубокой ночи. Шли к себе в номер, беседовали:

— А под глазами-то кружки... осунулся.

— Пожелтел...

Мы не видели его всего-навсего два месяца, а перемена была уж так заметна. Дорого доставалась ему боевая работа.

Скоро мы все разъехались к действующим частям, утеряли из виду Михаила Васильевича на долгие месяцы.



ВЕСТЬ О ЕГО СМЕРТИ

В начале этого года погиб драматической смертью старый большевик, иваново-вознесенский ткач, Семен Балашов, Странник, как звали его в подполье И мы тогда, иваново-вознесенцы, живущие в Москве, собирались, обсуждали, как отозваться на эту смерть, как хоронить. Прошло почти полгода — и снова собираемся за тем же столом, те же, что тогда, но обсуждаем иной вопрос: как отозваться на смерть дорогого земляка Михаила Васильевича Фрунзе. Тот раз и сам Фрунзе ходил к балашовскому гробу, теперь надо его хоронить.

У каждого так много-много есть, что вспомнить и что сказать, но больше молчим, не вяжутся речи, обрывками слов толкуем про делегацию из Иваново-Вознесенска в пятьсот человек, про комиссию по увековеченью памяти, про сборник, что-то еще...

Вот сидит поникшая, печальная старая когорта подпольщиков. Они помнят мальчика Мишу, совсем безусого юнца, когда держал он пламенные речи на людных рабочих митингах, знают его по каторжным централам, где юный большевик Арсений воодушевлял, заражал товарищей своей бодростью, свежестью, непоборимой верой в победу — победу великого дела борьбы.

Они его помнят по тюрьмам, по ссылке, знают, как он спокойно, мужественно ожидал виселицу... Летучие мысли, памятки, воспоминанья...

Потом пошли в Колонный зал.

Там траурной сетью обвиты стены, там в тысячах огней горит зал, но невесело его сиянье, тускл этот похоронный свет пустых огромных комнат. Склонились зна-

мена, в черных лентах замер портрет красного полководца. Тихи разговоры, задушены горечью, болью стиснуты речи — так тихо бывает только в комнате труднобольного, когда близка смерть.

Уж полночь — скоро из больницы привезут гроб. Мы выстроились в ряды, ждем. И вот — заплакал оркестр похоронным маршем, вздрогнули ряды, головы обернулись туда, где колыхалась красная гробница. Внесли, поставили, первый караул встал на посту — члены Политбюро ЦК. За ними новый караул и новый и новый — бессменные караулы у гроба полководца...

Вот Надежда Константиновна — скоро два года как первый раз стояла она здесь у изголовья другого гроба. Как сложны должны быть чувства, как мучительно должно быть теперь ее состоянье, — не прочтешь ничего в глубоких морщинах лица: так оно много вобрало в себя страданья, что остыло в сосредоточенном, недвижном выраженье — лучатся только горем выцветшие очи верного друга великого человека.

Мы дежурим в третьем часу.

Стою, смотрю в это мертвое лицо, на черную ленту волос, на просек ресниц, на глаза, закрытые смертью навек, на сомкнутые крепко губы — и вспоминаю всю свою жизнь, встречи с этим бесконечно дорогим человеком, сыгравшим в жизни моей большую роль. Но об этом не теперь, будет время — вспомним.

Проходят вереницы в почетные караулы — до утра не редеет толпа. А с утра приливают новые волны, отряд за отрядом, идет Москва к праху воина.

1925



НАД СВЕЖЕЙ МОГИЛОЙ

(Из речи на смерть Фрунзе в школе ВЦИК)

Товарищи, из Иваново-Вознесенского района вышло много больших работников, но самым большим и самым любимым по всему району всегда — и в 1905 году, и позже, и теперь — был Михаил Васильевич Фрунзе.

Это была личность, к которой у нас в Иваново-Вознесенском районе отношение было совершенно исключительное, — и по деревням, и по текстильным фабрикам, даже и у городских обывателей и интеллигенции. Это одна из тех редкостных личностей, которые заслуживают любовь и привязанность как-то разом у всех...

Товарищи рассказывали, как они встречались с Фрунзе на всем протяжении революции, в годы гражданской войны, и раньше, встречаясь в подполье, относились с редкостным уважением, с особенной теплотой. И это именно потому, что он был не только большой политик, не только большой организатор, не только большой стратег, но он был и большой человек, человек просторного, прекрасного сердца, человек большого участия к человеческой жизни...

Товарищи, мы потеряли в нем не только прекрасного человека — это был и человек чрезвычайно разнообразных, богатейших дарований. Это был прежде всего большой организатор, большой политический деятель и большой хозяйственный работник; он был прекрасным военачальником и строгим, точным администратором. Ему не пришлось, правда, во время гражданской войны, развернуться широко во всех этих плоскостях, но в 1917 и 1918 годах, когда он руководил у нас губернским сове-

том народного хозяйства в Иванове-Вознесенске или когда он был там председателем Губернского Исполнительного Комитета, — он показал себя и крупным хозяйственным работником, понимающим и держащим на виду не только нужды нашего текстильного рабочего района, но понимающим и широчайшие общегосударственные нужды. Это была чрезвычайно разнообразно одаренная натура. И в какой бы области ни взялся он за работу, у него всегда находилась какая-то цепкость, какое-то особенное понимание, особенные способности ориентироваться, разбираться сразу в обстановке и брать, что называется, быка за рога. Он хозяйственник — и он на этом деле проявляет достоинства. Он военный работник — и он на этом деле выявляет талант. Он берется за какую-нибудь культурную работу, организует какой-нибудь техникум, тот, который, например, сейчас существует в Иванове, — и здесь он на своем месте.

В 1918 году, находясь еще в Иванове, он принимает меры к организации рабочих отрядов. Потом, на фронте, он вклинивает эти отряды в крестьянские дивизии, поднимает до предела их боеспособность и создает такие закаленные, железные дивизии, какою была, например, Чапаевская. Это относится, товарищи, уже к началу 19-го года. Положение, вы помните, было тогда какое. Колчак теснил наши армии почти до самой Волги, был в 40 верстах от Бузулука и в 60 — от Самары. Положение было чрезвычайно тяжелое, думали, что придется нам от Волги отходить.

На севере дебоширили английские налетчики. С юга напирала деникинщина: в железном кольце замкнулась Советская Россия. Туго приходилось тогда нам бороться: полегчает на одном фронте, на другом тяжелее, там подымется — здесь разруха. Положение было тяжелое! По Восточному фронту шел с победами адмирал Колчак — самый сильный руководитель белогвардейских армий. Тяжесть борьбы против колчаковских войск и пришлось вынести на плечах своих ответственному руководителю обороны — М. В. Фрунзе. Он за Волгу не отошел. Фрунзе мобилизовал, сомкнул 1-ю, 4-ю, 5-ю и Туркестанскую армии и сначала остановил передовые колчаковские разъезды, а потом и погнал врага на Уфу, на Челябинск, в Сибирь, — там Колчак и сгиб... Под Уфой разыгрались решающие бои. Уфа была центром, где со-

средоточились наши надежды и надежды гонимого Колчака. Под Уфой мы решительно испытывали крепость собственных войск. Пока гнали мы от Бузулука, Бугуруслана, Белебея передовые колчаковские разъезды, — это были как бы пробные наши шаги, мы еще с главной силой противника тогда не столкнулись. Ставился вопрос: как же, насколько мы будем сильны, когда столкнемся с основным колчаковским ядром?..

Под Уфу 7-го не пошли, пошли только в ночь на 8-ое. 9-го Уфу взяли. И вот в крупном, отчаянном этом бою, когда наши части одно время дрогнули и когда Фрунзе узнал, что на том берегу неладно, он переезжает туда, вплотную подъезжает к Иваново-Вознесенскому полку, и вдруг по цепи радостный, восторженный крик: «Фрунзе с нами! Фрунзе в цепи!» И в самую решительную минуту, когда не хватало патронов у солдат, когда надо было вырвать инициативу у противника, — кинулись красноармейцы, сбили атаку, погнали врага, спасли положение. Вы знаете, товарищи, как в боевой обстановке важно уловить момент, переломить обстановку, схватить инициативу, а тут получилось как раз такое положение, что инициатива из наших рук выпала и попала неприятелю, нас оттеснили, и можно было ожидать тяжелого исхода. Вот тут-то личный пример Фрунзе и сыграл свою роль. Нельзя, конечно, сказать, что только этот личный пример спас все серьезное положение, но что он чрезвычайно повлиял на настроение полков, — это несомненно. Фрунзе вместе с Трониным кинулся в атаку. Тронину пуля пробила грудь. Утром девятого мы вступали в Уфу.

Я сейчас не смогу и не сумею, товарищи, перечислить вам колоритнейшие случаи из жизни Фрунзе. Мы как-нибудь займемся этим, в печати осветим его жизнь и расскажем про его героическую работу. Сейчас, здесь, мы только со скорбью делимся, товарищи, с вами теми летучими воспоминаниями, которые в эти траурные часы мелькнули случайно в памяти,—воспоминаниями об этом большом и прекрасном человеке, которого навеки с нами не стало. Как тяжело сознавать, что нет его, что где-то вот там, у великой гробницы вождя, у Кремлевской стены, вырастет новый бугорок земли и под ним вечным сном будет покоиться наш любимый Михаил Васильевич.

1925



1 МАЯ

С утра, только проснешься, в открытые окна — майский гул. Сегодня 1-е Мая! Буйной дробью где-то рядом бьет пионерский барабан — эти птицы не спали, видно, всю ночь, и чуть солнце в небо — они уже с утренней барабанной трелью щелкают по мостовым разбуженных переулков. Ну, до сна ли, где там спать — марш к окошку, погляди на эту рать, на смену, на здоровье нашей земли, на нашу надежду: с красными бантами, в пионерских костюмах, с задорными головенками, вздернутыми кверху, — эх, как бодро шагают. Ну, радость-радость! Какими словами выражу я мою радость, гордость мою этим жемчугом, что рассыпался вот в красных блестках по мостовой!

Я уж на воле, я пойду — побегу московскими бульварами, они сведут меня с площадями, а на площадях толпы, там сбор.

Толпы, груды, стройные ряды торжественно-красочно волнуются по улицам. Эк, народу, народу что! Я весь затерян в этой многоцветной, ликующей толпе. Посмотри на лица, посмотри на эти цветные, красочные костюмы, послушай речь звонкую, бодрую, сильную, смелую — это наша первомайская речь, которую слышит целый мир.

Да, что теперь там — по всему миру? Вот по Арбату, прямо на площадь, мчат в затылок десять, двадцать, тридцать автомобилей и гружены все они доверху пионерской ребятней. Я не могу сдержать: слезы восторга душат, вот-вот хлынут из глаз. Ребятня кричит, ей кричит толпа что-то радостное, дружное, общее, всем непонятное, но всем родное. Площадь слилась в приветном

гуле — гудели авто, гудели стаи красноголового комсомолья, гудели пионеры, мчавшиеся мимо, гудела площадь.

Только промчали — а там понесли, грудью пыхтя, грузовики — на них малыши, чуть не грудные бойцы за Советскую власть.

А солнца сколько кругом, сколько простору, воздуху, сколько радости в этом гаме, в этом гуле первомайском мы отдаем, показываем миру свою силу, свою веру в скорую-скорую победу не только у нас.

У стен Страстного монастыря народу сбилось со всех концов: идут с бульваров, сверху с Тверской, вывертываются с Дмитровки — все сюда. Заштопорилось. Надолго. Основательно. Вот прошел Университет трудящихся востока. Мы громко кричим:

— Да здравствует Красный Восток!

Они кричат нам ответное «ура» и потом запевают какую-то нам непонятную песню, но по лицам, по горящим глазам мы видим, мы знаем, понимаем, про что они поют. Прогремел автогрузовик, груженный до верху расцвеченной ребятней, — мы их, ребятишек, ловили за руки, а они на ходу срывали с нас шапки, с комсомолок срывали красные наголовки, мы кидаем кверху яблоки — ребята с гиком, свистом, криком и визгом ловят их на лету. Грузовик прошел, но мы видим, как и дальше детям толпа не дает покою, а детишки рвут, треплют толпу, свищут, кричат, торжествуют...

Вдруг ударила музыка — что это, как знаком мотив? Ба, да это же наш русский... Русский!!!

— Идите в круг, — крикнул зычно голос над толпой. Засуетилось, раздалось, сцепилось в круг, а по кругу бесом-бесом-бесом мчался знакомый шофер, он мастерски отделывал пляску, мы в восторге хлопали ему, аплодировали в такт. Кто-то вытолкнул вдруг, для всех неожиданно, красноголовку. Заломила она руки на голову да как ударит, как ударит!

Ну и красота, эх, плясала четко.

Отплясала, а тут команда:

— Стройся! В ряды стройся!

Смолкла музыка, кинулись все по своим местам. Я побежал по монастырской стене, касаясь локтем с одной стороны холодных камней, с другой — бешено горячих людей.

И вдруг снова:

— Стой. Остановка.

Опять затор... Но недолго тишина.

— Наурскую!

Оркестр сорвался в пляс.

Два красавца грузина кинулись на середину разомкнутого круга, под гиканье и аплодисменты вспомнили светлую Грузию.

Ах, как они отмахивали, как восторженно плясали любимицу — Наурскую!

Оборвали и Наурскую командой. Помчали в строй, а строем шли десяток шагов и снова: стой!

А что тут стоять, разве можно молча да тихо стоять, когда бунтует кровь, когда кругом такое счастье?

Айда качать! Подхватили кого-то из ближних, взбросили его высоко-высоко, и только видно в воздухе одно напряженное докрасна, широко улыбающееся милое лицо. Кидали его, кидали, опустили на землю, и, тяжело отдуваясь, он кинулся прочь, сам не зная куда, опасаясь, что ухватят снова.

Где-то совсем-совсем рядом ухнули:

По морям — по волнам,
Нынче здесь — завтра там...

Припев вырвался дикой птицей, а песню за шумом мы и не слыхали.

Зашумела, задвигалась толпа, головы вскинулись вверх: там один за другим — целая стая аэро, они быстро перестроились, и мы, к изумлению своему, увидели, как в небе из аэро получились пересеченные серп и молот. Толпы вздрогнули и дико, неистово закричали в восторге! Аэро рассыпались, перестроились, и мы в небе увидели пятиконечную звезду. Восторженно, неистово закричала снова толпа. Какие это были удивительные минуты!

Да, это — первомайский праздник! Таким он должен быть, таким он будет во всем мире: праздником торжествующего, ликующего труда, великим днем победы.

1925



СОДЕРЖАНИЕ



Фурманов Дмитрий Андреевич
ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

Редактор подполковник *Рудин М. З.*
Художник *Васильев Н. А.*
Технический редактор *Медникова А. Н.*
Корректор *Горелик Ф. М.*

Сдано в набор 16.11.56 г.
Подписано к печати 9.03.57 г.
Формат бумаги $84 \times 108^{1}/_{32}$
$6^{7}/_{8}$ печ. л. = 11,275 усл. печ. л.
+ 1 вкл. — $^{1}/_{16}$ печ. л. = 0,103 усл. печ. л.
11,028 уч.-изд. л.
Г-33099.
Военное Издательство
Министерства Обороны Союза ССР
Москва, Тверской бульвар, 18.
Изд. № 1/8829. Зак. 1233.

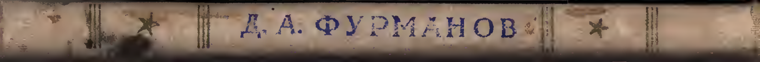
1-я типография имени С. К. Тимошенко
Управления Военного Издательства
Министерства Обороны Союза ССР

Москва, К-6,
проезд Скворцова-Степанова, дом 3.
Цена в переплете № 5 — 4 р. 35 к.,
в переплете № 7 — 4 р. 85 к.




29


4р. 35 к.


Д. А. ФУРМАНОВ